

**СИН
ТАК
СИС**



33

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

33

ПАРИЖ

1992

Журнал редактирует:

М. РОЗАНОВА

The league of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд

Московский представитель журнала — Татьяна Толстая

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

 SYNTAXIS 1992

Адрес редакции:

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Tél.: (1) 46 61 28 38

Денис Новиков

РОССИЯ

...плат узорный до бровей.

Ты белые руки сложила крестом,
лицо — до бровей — под зеленым хрустом,
ни плата тебе, ни косынки,
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка — пришлют паранджу
за так, по-соседски, и что я скажу
как сын, устыдившийся срама:
Ну вот и приехали, мама.

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
"Свое" — это грех, нищета, кабала,
но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листовая.

Последний рассудок первач помрачал,
ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала "торпеду"
и снова пила за Победу.

Доволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна,
а значит, без громкого тоста.
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон,
ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесем и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:
налево Мамона, направо Аллах,
нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.

Поедешь направо — умрешь от огня.

Поедешь налево — утопишь коня.

Туман расстилается прямо.

Поехали по небу, мама.



А. СИНЯВСКИЙ

ИВАН-ДУРАК

НОВАЯ
КНИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"СИНТАКСИС"

Зиновий Зиник

ЗАРЯ КОММУНИЗМА

(Письмо из таверны напротив Британского музея)

Чтобы попасть в библиотеку Британского музея, поднявшись по ступеням центрального входа, надо миновать ассиро-вавилонских монстров в виде полулюдей-полуптиц, размером с кремлевскую башню («Человек создан для счастья, как птица для полета»), между древнеегипетских саркофагов. Именно этим маршрутом проходил день за днем в библиотеку Маркс, когда изучал капитализм, и тем же маршрутом следовал Ленин, когда изучал «Капитал» Маркса. Человек, одержимый одной идеей, строит свою жизнь, как сюжет, так, чтобы эта идея постоянно повторялась в каждом повороте выстроенной им жизни. Поэтому человек заканчивает свой идеологический маршрут там, где он его начал. Ленин закончил свои дни в египетской пирамиде, выстроенной ассиро-вавилонскими монстрами под влиянием «Капитала» Маркса. Кто бы мог подумать, что я увижу Кремль с другого берега, из окон Британского посольства в Москве, как подданный британской короны? Моей пионерской встрече с мумией Ленина в школьные годы поме-

шала не то свинка, не то ветрянка; в сознательном возрасте – антисоветский снобизм. Кто бы мог подумать, что я попаду в Мавзолей уже эмигрантом? В кармане у меня было письмо за подписью британского посла с просьбой пропустить меня в Мавзолей без очереди. Пропустите, пропустите меня к нему. Я хочу видеть этого человека, пока его не свезли на свалку истории. Нам обоим знаком один и тот же маршрут через залы Британского музея в библиотеку. Мы воспитывались на одних и тех же книгах. Мы оба вернулись с визитом в Россию – эмигрантами.

Очереди в Мавзолей, однако, не было. Красная площадь в тот день была оцеплена милицией и огорожена барьерами по случаю, как выяснилось, очередной демонстрации сторонников реставрации советской власти. Я подумал, что Мавзолей, как единственный живой (точнее, замумифицированный) символ советской власти, должен быть, согласно кромешной, обратной логике происходящего в России, в такой день закрыт. Но милиционер мне возразил, что сегодня – не вторник и не пятница, когда в Мавзолее выходной. А поскольку сегодня не выходной, то Мавзолей открыт. В связи с демонстрацией, однако, с барьерами и милицией, мало кто об этом подозревает, и поэтому нет никакой очереди. Вход свободный. Не нужно никакого письма за подписью британского посла. Солдатики почетного караула двигались как заведено – рывками из парадных жестов, застывая периодически с задранной в воздухе ногой, – и в этом тоже была потусторонность и амбивалентность: эта задранная нога превращала их позу в собачью, как будто с каждым шагом они собираются помочиться на ступени – осквернить святыню? Это был вход в зазеркалье: когда образ уже не существует в реальности – только в отраженном виде, законсервированный во времени, вечно повторяющийся, вроде вышагивания почетного караула, эпизод ушедшей эпохи. Малейший шепот посетителей, как и прежде, прерывался строгим шиканьем охраны, тебе постоянно напоминали, что руки надо вынуть из карманов, руки держать снаружи. Я в последний раз оглянулся на высвеченную апрельским солнцем Красную площадь и шагнул вниз по ступеням. С каждым шагом последняя тень улыбки исчезала с губ. Тень и свет вообще менялись места-

ми. Мы входили в иной, крошечный, перевернутый мир – зазеркалье.

Тут верх и низ путались, отражаясь друг в друге. То, что гляделось как египетская пирамида снаружи, было лишь потолочным сводом Мавзолея. Само же помещение уходило вниз, в глубину – ямой: оно было зеркальным отражением пирамиды над головой. Ты оказывался в перевернутом мире. В сопряжении этих двух зеркальных отражений нависал над ямой перевернутой пирамиды – гроб с Лениным. Он держался на невидимом кронштейне, и поэтому, казалось, парил в воздухе. Гроб был стеклянный. Надо было сначала спуститься вниз по ступеням, а потом подняться наверх, чтобы оказаться на одном уровне с прозрачным саркофагом. От этих перемещений по ступеням и от головокружительной подсветки, приравнивающей верхнюю пирамиду к бездне ее отражения под ногами, терялось вообще представление о верхе и низе. Мумия как будто парила между небом и землей. Как Спящая Красавица. Или как Кощей Бессмертный.

Я ожидал некоего подобия картинки из нашей школьной хрестоматии: аскетическое лицо с бородкой, галстук в горошину, руки умиротворенно скрещены на груди. Однако под прозрачной крышкой возлежала ярко желтая, светящаяся янтарем восковая персону с раздутым лицом бонзы. Одна рука была судорожно сжата в кулак, а другая была вытянута, как клешня, как будто он замер, выжидая момент, чтобы вскочить и, разбив восковым кулаком стеклянную крышку, броситься на толпу любопытствующих ренегатов. Свиданье с вождем длится несколько мгновений, и мы, проклятые, уже готовы были шагнуть вниз, в бездну, к выходу, когда женщина в цепочке передо мной неожиданно остановилась. Я видел, как напряглись ее сжатые скулы и расширились глаза; не переводя дыхания, она сказала громким и рыдающим голосом, обратившись к мумии: «Прости нас, товарищ Ленин, за то, что мы не оправдали твоих надежд». Женщину подхватили под руки тут же возникшие распорядители, вежливо и быстро подтолкнув ее к выходу.

Красная площадь под чисто вымытым небом показалась мне полной несбыточных обещаний, как отъезд за границу. Но я знал, что женщина из очереди в мавзолейных подвалах нашего сознания была права: я, бывший комсомолец, а ныне эмигрант, тоже не оправдал ленинских надежд. Продвигаясь к Минину и Пожарскому, я миновал одинокую фигуру то ли нищего, то ли демонстранта. Оказалось: сумасшедший с воззванием на груди. Такого психа, с совершенно аналогичными призывами на плакате с веревкой через шею, можно встретить в любой столице мира. Выглядят такие обычно вовсе не как забулдыги, обезумевшие от спиртного побродяжки или те трекнутые, чье безумие недостаточно агрессивно, чтобы держать их в психушке, и поэтому ночующие по канавам – нет: скромное пальтишко, туфли начищены, проборчик. Лицо, правда, совершенно изможденное и серое, как простыни советской больницы. Голова склонена набок, к плечу, по-куриному, и стоял он совершенно неподвижно, как будто подражая часовым мавзолейного караула напротив. Физиономия удавленника. С шеи на веревке свисает плакат-обращение. Текст, опять же, стандартный для подобных психов всех стран и народов: агенты перестройки (или КГБ, или ЦРУ, или сионисты, или инопланетяне, в зависимости от того, где воображает себя герой – в России или Америке, на Земле или на Марсе) проникли в мозг, впрыскивают яд в вены, по секрету вытягивают лимфу из жил. Однако конец этого обращения у человека напротив Мавзолея был действительно оригинален: «В результате этих пыток», излагалось в обращении крупными буквами, – «у меня в голове не осталось ничего, кроме мыслей о сексе. Спасите меня или убейте».

Особенно нелепо все это смотрелось на Красной площади под первоапрельским дурацким небом. От советской власти у советского народа, чье сознание было ограблено агентами перестройки, ничего на свете не осталось, кроме мумии Ленина. Распадающееся на части тело советской души. В Мавзолее лежал самый знаменитый сифилитик мира – тоже жертва мыслей о сексе? Мне рассказывали, про аквариум в мифическом научно-исследовательском институте Ленинской мумии: раздвигаешь шторы, а там, в аквариуме во всю стену, плавают уши и носы, пятерни и ступни

– запасные части для мумии, из тех, что выставлены наружу, для обозрения публики. Ее подкачивают восковой жидкостью для предотвращения распада периодически: раз в неделю руки и лицо, пару раз в год все остальное тело, включая, как я понимаю, и гениталии? И что делали Ленин со Сталиным, когда лежали бок о бок в темноте пирамиды? Эти гомосексуальные кожаные куртки чекистов. И почему целовались в засос члены Политбюро? Что делала их левая рука, скрытая трибуной Мавзолея, пока правая была задрана в приветствии во время парадов на Красной площади? Может быть, этот подростковый страх перед запретным большевистским (или меньшевистским – в смысле секс-меньшинств?) сексом и отпугивал меня от Мавзолея? Где требуют, чтобы вынули руки из карманов. Как в пионерском лагере, окрик воспитательницы: вынуть руки из-под простыни, руки держать снаружи (чтобы пионеры не занимались онанизмом). Самое сильное впечатление моего ограбленного советского детства.

У Исторического музея стояла толпа: первая группа демонстрантов, защитников идеи реставрации советской власти, жертв обездоленного советского сознания. Мне их расписывали как чудовищ. Я увидел изможденные, осунувшиеся лица людей лет под шестьдесят, дурно одетых, с растерянным взглядом и неверными жестами: у этих людей отобрали жизнь – их победы и беды, их сокровенную боль, юркую, как сибирский соболь. Одна из теток, в пальто с кошачьим воротником, ходила в толпе с копилкой для сбора денег. Копилка была переделана из хлебницы с прозрачной крышкой, с щелью для денег, где на заднике наклеены были портреты Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса. Эта копилка была похожа на деревенский вертеп, со Святым Семейством под Рождество. Я вдруг ощутил религиозную сущность протеста этих униженных и оскорбленных. Я увидел в этой толпе несчастных горстку поклонников неведомого еще миру религиозного культа. «Прости нас, товарищ Ленин, за то, что мы не оправдали твоих надежд», звенел в ушах рыдающий женский голос в египетской пирамиде. Египетская пирамида. Библейский исход из Египта. Эмиграция. Я тоже не оправдал твоих надежд, комрад Ленин. Я предал советскую родину. Отбыл в эмиграцию. Или

наоборот, повторил твой путь, вернувшись на Красную площадь, в Землю Обетованную советской избранности, разграбленную римскими легионерами перестройки? Мысли мои смешались: не удержавшись, я бросил в самодельную копилку советских демонстрантов английскую фунтовую бумажку (два доллара). Что тут началось. Меня окружили, стали спрашивать: откуда я? Когда выяснилось, что из Лондона, стали скандировать: «Лондон – Москва, Москва – Лондон! Солидарность, солидарность!» Слезы навернулись мне на глаза. Все нити соединились у меня в уме: Британский музей, египетский зал, Ленин и Маркс, Москва и Лондон, внутренняя свобода и капитал, эмиграция и отечество, женщина и мужчина.

И вот эта смутная идея, посетившая меня на Красной площади, стала постепенно обрастать словами нового манифеста, всякий раз, когда я, после посещения библиотеки Британского музея, заходил, чтобы выпить кружку эля или стаканчик виски в Музейной таверне, через дорогу. Тут за кружкой пива сидел Маркс, отстрочив положенное количество страниц «Капитала» в библиотеке напротив. Тут сидел и Ленин, изучив положенное количество страниц «Капитала» Маркса. Отсюда, из-за стойки Музейной таверны, ясно, что призрак бродит по Европе. Это призрак советского коммунизма. Со стороны кажется, что от советского коммунизма не осталось ничего, кроме груды развалин, изувеченных монументов, потрепанных страниц, разорванных знамен и разбитых сердец. Колосс на глиняных ногах, внушавший еще недавно ужас и трепет, испустил дух. Куда же этот дух испарился? За границу. В западную Европу. В эмиграцию. Туда, где он, собственно, и зародился, благодаря эмигрантам Ленину и Марксу, – в стенах библиотеки Британского музея. Призрак коммунизма бродит среди музейных стен.

Ведь как и все духовное в России, коммунизм был порождением западной мысли. На протяжении веков европейские идеалисты использовали Россию как подопытного кролика для проверки своих утопических идей. Западные правительства, в свою очередь, страшась общественных перемен в собственной стране, поощряли Россию в ее склонности

проверять на практике революционные теории. Катастрофические результаты подобных экспериментов в России отпугивали народные массы Запада и настраивали их против ретивых адвокатов общественных перемен у себя дома. Ради этого европейские правительства готовы были финансировать в той или иной форме российские игры в социализм. Коммунизм в Восточной Европе не мог бы выжить без финансовой поддержки капитализма Западной Европы. Загнивание коммунизма означает в первую очередь загнивание капитализма: это значит, что больше нет денег на дорогостоящие поучительные эксперименты на чужой территории. Ни о чем, кроме духовного кризиса капиталистической системы, подобная прижимистость не свидетельствует: разочарование в утопических идеалах, то есть неверие в какой-либо прогресс, а без идеи прогресса нет капитализма.

Тем не менее, разглагольствования о смерти советского коммунизма крайне преждевременны. Действительно, тело его разрушено с уничтожением партийно-административного аппарата. Однако советский коммунизм никогда не был лишь партийной идеологией. Заветы Ленина будут жить в наших сердцах, даже если Мавзолей переделают в Макдональд. Культ личности Сталина в наших душах. Вечная Хрущевская весна расцветает у нас в груди ежегодно, а Брежневский застой будет вечно щекотать своей похотливостью у нас в паху. Советский коммунизм – это мы. Когда мы слышали о его смерти, не осиротели ли мы все? Все те, кто самодовольно хихикал и потирал руки, визжал от восторга и аплодировал при каждом ложном шаге советской власти на ее пути к самоубийственной развязке, не должны ли мы публично покаяться перед нашей духовной паствой за то, что лишили их путеводной звезды? Советский коммунизм был побит камнями либерализма за свое сталинское наследие точно так же, как в свое время атеисты пытались очернить идеалы христианства, выпячивая ужасы Инквизиции. Коммунизм, как и христианство, не идеология, а религия, и потому не определяется и не судится своим историческим прошлым. Лихорадка революционных катаклизмов, благородная ярость к врагам народа, радостная дрожь при мысли о светлом будущем человечества, не-

устанная борьба за моральный облик советского человека, и многое и многое, большое и светлое, всегда будут жить в наших сердцах.

Да, храм Советского Коммунизма разрушен. Мы, его дети, разбросаны по всему миру. Однако великие религии могут существовать и без храма и без территории. Давайте же взглянем на себя глазами первых христиан, тех иудеев, что были изгнаны из Святой Земли римскими язычниками, чтобы в диаспоре нести свет народам. Давайте же зложим первый камень в основание новой синагоги в нашей коммунистической диаспоре. Все есть в нашем распоряжении, чтобы заново отстроить храм коммунизма – на этот раз, в наших сердцах. У нас есть наша Библия (из «Капитала» Маркса, книг Ленина и Сталина, Хрущева и Брежнева), есть и иконография (из портретов основателей марксизма-ленинизма и членов Политбюро), есть у нас и религиозный календарь с его праздниками (вроде годовщины Октябрьской революции) и наши религиозные ритуалы (вроде публичных исповедей врагов народа). При этом нам предстоит постоянно стоять на страже чистоты нашей религиозной доктрины – против идолопоклонничества и ересей. Мы должны неустанно разоблачать мертвую скорлупу современного фарисейства в лице китайских коммунистов, или же их близнецов-братьев на Кубе с их псевдо-популистской ересью; как, впрочем, должны и устранить язву европейского федерализма, пытающегося присоединиться к коммунистическому братству бывших советских людей. Эти еретические тенденции будут вскрыты и преданы анафеме в наших буллах и эпистолах. А чтобы не потерять друг друга из виду, мы должны собираться каждую субботу в наших молитвенных домах, в наших синагогах, выстроенных во всех частях мира, и, в частности, напротив Британского музея, чтобы призраку коммунизма было где преклонить голову. Эпоха, провозглашенная декадентской западной прессой как эпоха смерти коммунизма, останется в памяти человечества как время первых апостольских откровений. Мы сможем сказать нашим внукам, что мы были свидетелями не заката, а зари коммунизма во всем мире.



1992

Валерий Земсков

МИФОСОЗНАНИЕ В КРИЗИСНУЮ ЭПОХУ*

(опыт анализа текущего материала массовой культуры)

Период, переживаемый российской культурой примерно с 1988-1989 гг., можно оценить как мифогенный, когда творческая сила общественно-культурного сознания едва ли не с большей активностью проявилась не в профессиональном искусстве, а в сфере массового мифотворчества, опирающегося ныне на телевидение, газету, радио, быстропечатную брошюру. «Апокалипсис нашего времени» (если вспомнить розановские термины) творится средствами массовой коммуникации и через них. Среди причин мощной активизации мифосознания следует назвать следующие:

- распад российской империи, достигшей своего максимального развития при советской власти, и сопутствующий ему слом типового массового сознания, утратившего свои опоры и нуждающегося в обретении новых ориентиров;
- утрата доверия к позитивистско-сциентистской мифо-

* Настоящий очерк представляет собой несколько измененный доклад, прочитанный на международной конференции «Кризис и культура» (Российский государственный гуманитарный университет, октябрь 1992 г.).

логии и к любым идеологическим парадигмам как следствие компрометации мировоззренческой системы советского периода; сейчас при активном развитии экономического сознания мы наблюдаем «идеологическое зияние», несмотря на обилие политических партий и движений (социально-психологическая подоплека понятна: если мы уже «проехали» социализм, нужно ли нам обратно в капитализм? мы и так его уже «проходили»);

– особое значение имеет то, что российский кризис, исход которого имеет решающее значение для мирового равновесия, является составной частью кризиса мирового (перенасыщенность мира оружием массового уничтожения, экологические бедствия). Эти обстоятельства еще более обостряют недоверие массового сознания к позитивистско-сциентистским спасательным рецептам, а это с необходимостью предполагает острую актуализацию религиозно-мифологических пластов, блокированных в предшествующий период «единственно верным учением»;

– наконец, следует отметить как исключительно важную для современного мифосознания специфическую хронологическую маркированность российского (и мирового) кризиса. Не только конец столетия (это обычная для массового сознания «пороговая» ситуация, неоднократно повторяющаяся в истории мировой, в том числе и русской культуры, например, на рубеже XVIII-XIX вв., в конце XIX – начале XX вв.). Не только конец, так сказать, «очередного» тысячелетия (что уже само по себе является мощным мифогенным импульсом), но и конец особого тысячелетия – *седьмого* и канун также особого – *восьмого тысячелетия* от сотворения мира. По христианско-православной традиции (в отличие, скажем, от шестеричной концепции Августина Блаженного) «семиричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оно должно кончиться. Век же будущий означается осьмым числом, осьмой день – день всеобщего воскресения и грядущего Страшного суда» (интерпретация старца Амвросия Оптинского).

Таким образом, налицо эсхатологическая ситуация, которая, в свою очередь, несомненно является частью всемирной духовной ситуации ожидания исхода времен, также широко представленной в западном мифосознании. Но если на Западе эсхатологическая стилистика всегда сущест-

вовала параллельно с позитивистско-сциентистской и в условиях благополучного технократического общества не выдвигалась в центр культуры, то по-иному складываются обстоятельства в России. Стремление массового сознания заполнить «идеологическое зияние», как-то скрепить своими средствами разбившуюся на множество осколков картину мира выпустило из подполья на волю эзотерику, мифологические пласты различных уровней и соответствующую стилистику, ранее жившие в латентном состоянии.

Эсхатологическая окраска современного сознания в России очевидна. Причем я не имею в виду религиозное движение в рамках официальной Русской православной церкви, стремящейся возродить культурную традицию. Ведь, как известно, православная церковь не только в годы советской власти, но и прежде не поощряла (в полном соответствии с древнейшими апостольскими и соборными установлениями) апокалипсически-эсхатологических настроений, и книга «Откровения Иоанна Богослова» – это единственная новозаветная каноническая книга, которая не используется церковью в литургии. Я имею в виду религиозно-мифологическую структуру, живущую вне официальных рамок и в своих самых причудливых формах буквально заполнившую русскую площадь.

Я не обладаю статистикой, но каждый из нас чисто эмпирически знает, что в настоящий момент в России столпилось не только все множество мировых религий, конфессий и сект, как таковых, но и парарелигиозных, магических, эзотерических течений. Йоги, белое братство, масоны, кришнаиты, «инопланетяне», сатанисты... Нужны ли тому особые доказательства, если мы сталкиваемся с эсхатологической топикой и стилистикой буквально на каждом шагу, причем не только в таких традиционных «подвально-подпольных» опусах, как, скажем, переходы в метро и через улицы (позволю себе высокий стиль: о, сколько говорит русскому сердцу то, что главный московский «подвал», забитый эзотерикой и порнухой, находится под памятником Пушкину! что он думает, глядя на нас исподлобья? «да здравствуют музы, да здравствует разум!»), но и в самых ключевых точках официальной культуры. Скажем, на стадионе им. В.И. Ленина (может, у него уже другое название?) евангелист-чудотворец из США проводит сеансы мас-

сового излечения; в Кремлевском дворце съездов Церковь последних дней (кажется, тоже из США) собирает народ подумать о грядущем; в Дворце молодежи на Комсомольском проспекте проходит рок-фестиваль в стилистике черной мессы; в Центральном доме литераторов (святителище советской литературы!) организуется литургия Богородичного центра, посвященная спасению России и в память явления Фатимской Богоматери, пророчествовавшей о мире и России в 1917 г. в Португалии; один районный Дом культуры заняло общество «Радонеж», возрождающее древнеславянскую магию, а другой – Международный университет Брама-Кумарис, обучающий индийской медитации. Налицо стремление религиозно-мифологического сознания профанировать и заново и по-своему сакрализовать бывшие храмы «единственно верного учения».

Но главное – ТВ! Ныне с этой трибуны общества массовой культуры выступают совсем иные агитаторы и пропагандисты. Нажми чудесную кнопку, вертани заветную ручку – и перед тобой если не Кашпировский или Чумак, или Павел с Тамарой Глоба, то уж обязательно Невзоров или какой иной его коллега, играющие едва ли не основную роль в распространении эсхатологической стилистики. Сегодняшняя наша жизнь все более и более становится похожей на тележизнь.

А главное – газеты! Газеты и журналы всех, как говорится, идейно-политических оттенков, слева направо и справа налево. Если вам не нравится «День», пожалуйста, покупайте «Московский комсомолец» или «Комсомольскую правду», недовольны «Коммерсантом», берите «Русский вестник», «Истоки», «Воскресение» и т.д., не идет «Наш современник» – полистайте «Столицу». Эсхатология стирает политические оттенки и примиряет самых ярых оппонентов.

Очевидно, что нынешняя мифогенная ситуация складывается как бы из двух сил, действующих со стороны «фольклорной» паракультуры (почитайте стенгазеты на Пушкин!) и со стороны профессиональных журналистов и литераторов, в том числе и собственно писателей. Просмотрите на переходах малоформатные легкопечатные брошюры для народа. Здесь не только широкий выбор переизданий давней литературы эсхатологического характера (от антологических сборников «Учение Священного Писания и отцов

православной церкви об Антихристе», «Знамения пришествия Антихриста по учению Священного Писания и толкования святых отцов и учителей церкви» или «Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования» Сергия Булгакова – до «Грядущего Антихриста и царства Давида на земле» Сергея Нилуса (с полным текстом «Протоколов сионских мудрецов!») или американского православного священника Серафима Роуза «Будущее России и конец мира»), но и новейшей эсхатологической журналистики самых различных «методологических» направлений, с исключительной быстротой распространяющих апокалиптическую интерпретацию важнейших событий общественной жизни. Вот названия некоторых из них: «Армагеддон над Россией», «Хроника битвы с красным драконом (19-21 августа 1991 г.)», «Россия расколдованная», «Конец пролетарской эры», «Загадки звездного неба и наше будущее» и т.д. Достойно вписывается в эту панораму и выпущенный еще «Советским писателем» сборник «Водолей – знак России» с «эсха-эссе» С. Фомина «Считай себя предупрежденным». И вот новинка: говорят, на переходах продается книжка какого-то бывш. сов. писателя, где автор «нового мышления» опознан как Антихрист. Ищу эту книжку, но еще не встретил.

А главное – радио! Недавно нам объявили, что, согласно пророчеству некоего пророка, Конец света будет 28 октября 1992 г. И все мы, забыв, что он придет «как тать в ночи», идиотически улыбаясь, оживленно спорим, будет или не будет он 28 октября. Мы улыбаемся, иронизируем, но вдруг чувствуем словно какое-то легкое головокружение, будто при подземных толчках средней силы. «Единственно верное учение» сделало все, чтобы мы забыли историю, но история нас не забыла. Из давних далей и мифологических глубин через телеэкраны и печатные страницы газет до нас доносится дыхание космического ужаса. И потому приглядимся посерьезней к этой колышавшейся под ногами почве, на которой словно на чешуйчатой спине дремлющего пока хтонического монстра мы ставим сейчас наши новые, капиталистические, шопы и макдональдсы.

Как можно уловить уже из названий брошюр, здесь приводившихся, в центре внимания стоит вопрос «судьбы России», причем для понимания его трактовки следует

иметь в виду, что эсхатологический исход в христианском понимании означает не только аннигиляцию «мира сего» (Страшный суд, конец «ветхого Адама», то есть нынешнего человечества), но и преображение спасшихся в Горнем Иерусалиме, или, если перевести на другой язык, достижение человечеством в ином духовно-телесном качестве райского, гармонического состояния. И России в этом исходе отводится ключевая, мессианская роль, трактуемая и в оптимистическом, положительном, и в пессимистическом, негативном регистрах. Причем «судьба России» всегда интерпретируется в соотношении с остальным миром, в первую очередь, естественно, с Западом, либо непосредственно, либо в подтексте.

Кратко рассмотрим основные положения и источники топики и стилистики трех типов изданий: астрологический эзотеризм, популярная эзотерическая историософия, христианское сектантство эсхатологического толка.

Среди множества современных астрологов наибольшее народное доверие и коммерческий успех завоевали уже упоминавшиеся Тамара и Павел Глоба, создатели так наз. Авестийской астрологической школы, выступающие с публичными пророчествами, издающие свои журналы, литературу, которая перетолковывается вольными интерпретаторами, вроде также упомянутой брошюры «Загадки звездного неба и наше будущее». Если сопоставить эту популярную астрологию с концепциями другой, элитной астрологической школы, скажем, с «Уранией», окажется, что расхождения между народными вымыслами и учеными прогнозами не столь уж велики*.

Основные положения этих изданий сводятся к следующему. Современный мир в канун третьего тысячелетия живет на рубеже Эры смещения добра и зла (космическая эпоха Рыб, которой управляет Нептун) и Эры разделения добра и зла (космическая эпоха Водолея, которой управляет Уран). Первая эра суть эра великих одиночек (Христос, Магомет и др.), мистики, мировых религий, эзотерических учений, извращения открытых истин, предательства, догматизации и профанации великих идей, тайного привле-

* См., например, журнал Т. Глобы «Тамара», М., 1991 и «Урания», М., 1991).

ния и т.д. На более высоком языке – это время господства горизонтального сечения всех сфер жизни и сознания человека, создавшего почти непробиваемую черную стену между высшим, тонким миром (эгергор) или сферой мирового разума, и низшим, плотным. Сейчас при крушении атеизма и материализма происходит пробивание черной корки, что позволяет восстанавливать вертикальную свободную связь между всеми слоями бытия, осуществляемую через символические системы.

Решающая роль в этих процессах принадлежит России. «Место силы», помещавшееся в эпоху Рыб в Палестине (родина Христа), перемещается сейчас в Россию, ибо ею правит Водолей. Согласно астрогографии, если Запад – солнечная сторона мира (интеллект, мужской активизм), то Восток – лунная часть (женское, рождающее начало, сердце, сердечный разум). И Россия и есть сердце и хранительница истинного разума. Ныне над Россией идет решительная эгергорная битва (вспомним «Розу мира» Д. Андреева), ей предстоит выстоять в этой борьбе, объединить Восток и Запад (астрологическая версия русского универсализма). Уже к 2000-ному году почти ничего не останется от черной корки, когда станет возникать «шестая» раса, русский язык будет становиться мировым языком, возникнет новое сознание, значительная часть людей включится во взаимодействие с мировым разумом, обретет сверхъестественные способности, математическая (электронная) магия, парапсихология, телепортация, целительство, телепатия позволят разрешать внутренние и внешние проблемы нового человечества, вести борьбу со злом на энергетическом уровне. Символика Россия-Водолей предвещает, что в новом мире произойдет переход от мужской эпохи к женской, к новому матриархату (к эпохе Великих Дам). В описанном астрологическом ключе предсказываются и задним числом интерпретируются не только крупные блоки исторических событий (скажем, феномен Октябрьского переворота), но и текущая политика, составляют ближайшие прогнозы (например, интерпретация противостояния Горбачева (знак Рыбы) и Ельцина (знак Водолея), политическое противоборство в августе 1991 г. и т.д.). Все слышали их по телевидению, по радио, читали в газетах.

Как видно из использованной лексики и топики, основу

данной «концепции» судьбы России составляют, кроме традиционной астрологии, предсказаний Нострадамуса и оккультизма, также зороастризм, каббала, магизм, причем также современный, технократический, теория символа, а в целом проекция будущего соотносится непосредственно с христианской хилиастической концепцией нового гармонического тысячелетнего земного бытия.

Внешне оппозиционной вышеописанной концепции противостоит историософская версия «судьбы России» литератора, члена редколлегии газеты «День» А. Дугина в его очерке «Конец пролетарской эры». * Ее квалифицирует как неомистицизм, своего рода новый извод «русского космизма», являющегося теневым учением русского коммунистического мессианизма и в то же время совпадающего по своим основным положениям с идеологией американского неоспиритуалистического движения «Нью-Эйдж» («Новый Век»). Сами эти учения в понимании Дугина являются собой идеологию, соответствующую эсхатологическому кануну, последнюю точку в процессе неуклонной деградации человечества, проходящего от изначального Человеческого Архетипа, или Духовного Человека, четыре ступени падения (каста жрецов, воинов, купцов и рабов – это древний период, феодализм, классический капитализм и массовое общество капитализма и социализма) вплоть до «последних людей» (Ницше), полностью утративших духовные свойства и претерпевших окончательное «оплотнение». С этой точки зрения современный пост-социалистический «гомо советикус» равнозначен американскому массовому человеку, а «новое мышление» Горбачева в сущности однозначно идеологии «нового века» «Нью-Эйдж». Россия, являющаяся основным мотором мировой деградации, взяла на себя миссию завершения мировой истории, доведения ее до последней фазы цикла, когда структура общества и человека, его сознания полностью как бы воспроизводят изначальную сакральную структуру, но с обратным знаком. Сегодняшние жрецы – это маги-технократы и экстрасенсы, которые переводят отрицательные энергии эгрегора в темные разрушительные силы с помощью спиритуалистической практики (библейские Гоги и Магоги, у Нострадамуса – Доги и

* См. «Континент-Россия», М., 1991.

Дохамы) и разрушают психику людей, а сегодняшний монарх – это грядущий «монарх ужаса», то есть Антихрист – последний народоводитель. Финал мыслится Дугиным в традиционных терминах по Иоанну Богослову. По Дугину год рождения Антихриста – 1962, явления народу – 1992, год Страшного суда – 1999. Таким образом, перед нами мессианизм России с минусовым знаком, но итоговым плюсом, поскольку путь через страдания ведет к небесной гармонии.

Источники Дугина: Ветхий Завет (Книга Даниила – легенда о колоссе на глиняных ногах, четыре части ног соответствуют четырем состояниям человечества), индуистская мифология, Откровение Иоанна Богослова, масонский легендарий (легенда об архитекторе Хирама), оккультизм, от которого он отрещивается, каббала, Нострадамус. Символика советского общества (герб, серп и молот, пятиконечная звезда, красный цвет, понятие «товарищ») взводится им к масонским источникам, связанным с люциферианской стихией.

И, наконец, христианское сектантство – так наз. Богородичное движение, появившееся как активная сила примерно в 1989 г. Во главе его стоит о. Иоанн (Береславский), ему в 1984-1991 гг. был ряд явлений Богоматери, откровения которой он издал в публикации «Откровения Божьей Матери в России (1984-1991 гг.)». Дни святых Благословений». И основанная о. Иоанном «параклитская», «вселенская» церковь Святого Духа или Церковь Богоматери, и ее литургия, и, наконец, сами откровения, опубликованные им, конечно, с точки зрения Русской православной церкви – это еретическое, эсхатологическое сектантство. В понимании о. Иоанна Россия и мир также достигли последней степени разложения, и его церковь взяла на себя миссию приготовления к неизбежному Страшному суду через призыв к всеобщему покаянию. «Сей век мрака подходит к концу, и грядет озарение света во вселенной, век Божьей Матери», или Век Третьего Завета. Апокалиптические откровения о. Иоанна, естественно, не случайно носящего имя другого Иоанна – Богослова, имеют, разумеется, связь с ветхозаветной и новозаветной топижкой и стилистикой, но при этом обнаруживают также знание оккультизма, каббалы, магизма (в обрядовой практике эта церковь близка шаманизму), имеют связь одновременно и

с фольклорно-сказочной стихией (мотив яйца Кощея), и с апокрифами (Хождение Богоматери по мукам), и со сциентизмом, учитывают роль средств массовой коммуникации. Так, например, согласно о. Иоанну, Антихрист будет выступать по телевидению, и вообще ТВ станет его алтарем. Любопытно отметить очевидную связь данного типа эсхатологизма с культом Фатимской Богоматери, которая, как уже отмечалось, свидетельствовала в Португалии в 1917 г. о судьбе мира и России, часть этих откровений опубликована, часть до сих пор держится Ватиканом в секрете.

Еще любопытней связь этого эсхатологизма, и мы не знаем, только ли типологическая, с троичной системой исчисления земного пути человечества, восходящей к еретическому учению итальянского мистика Дж. де Фриоре. Де Фриоре противопоставил классической христианской двоичной системе (Августин Блаженный: эпоха до Христа и после Христа) троичную хилиастическую систему, которая стала идеологической основой мятежных христианско-уравнительских движений в средневековой Европе. Согласно Фриоре, первая эпоха – это дохристианская эпоха Отца, вторая – христианская эпоха Сына, третья, постхристианская – эпоха Св. Духа. Элементы этой концепции мы видим и у о. Иоанна, как и ранее у вполне серьезных русских богословов начала XX века. Только у него третья эпоха Св. Духа (она же эпоха Богоматери) – это не земная, хилиастическая, стадия, а, согласно православной традиции, новое, горнее существование спасенного человечества.

Попробуем обобщить изложенный материал. Основу всех трех «концепций» составляет идея полной и окончательной деградации человечества, окончательной победы плоти над духом, понимаемой в эсхатологическом ключе как канун преобразования и победы духа. Общим является принципиальный синкретизм топики, языка, стилистики, совмещающий мифологические и эзотерические истоки и современные мистико-технократические концы. Во всех трех «концепциях» России отводится особая ключевая роль, в эсхатологическом исходе истории человечества. В первой и второй концепциях принципиальное значение имеет повышенная роль женского начала в будущем преобразенном бытии. Общая линия состоит в переориентации в постхристианскую эпоху с мужского начала (Христос) на

женское (Богоматерь). Напомним символику: Россия – Водолей, а вода суть женское, рождающее начало, в ином аспекте – начало сердечного разума. Вспомним также, какое большое значение в русской культуре всегда имел культ Богородицы и как трансформировалась женская символика России в культурологии и вольном богословии начала XX века, вспомним идеи Розанова и статьи Бердяева о вечно «бабьем» в душе России.

В то же время не случайно и совмещение богородичного культа, о котором шла речь, с культом Фатимской Девы. Ведь и в западной мариологии особое выделение «стадии Богородицы» так или иначе, как и в русской софиологии, например (скажем, у Сергия Булгакова), ведет к троичной системе, а следовательно и обязательно к сдвоению образов Богоматери и Св. Духа. Например, крупнейший современный богослов Латинской Америки (а здесь сосредоточена ныне большая часть католиков современного мира) аргентинец А. Катурелли отводит России и Латинской Америке особую миссию преображения мира под знаком Богоматери.*

Отметим также, наконец, вообще-то типичное для эсхатологического сознания любой эпохи, но особенно упорное сегодня стремление точно маркировать последнюю дату: 1999 г., 2000-й год, 2003-й год (полная дата начала эры Водолея). У о. Иоанна, естественно, дат нет, но в отличие от Иоанна Богослова, давшего откровение о грядущем, у современного «тайнозрителя» апокалипсис локализован не в будущем, а в настоящем, как идущий сегодня, сейчас, сию минуту.

Что же это за тип сознания, о котором мы говорили? Ориентацию на эсхатологический исход – преображение человечества через Россию – можно рассматривать как очередные модификации родового русского культурного сознания, и в этом смысле они вовсе не противоречат, а в структурном смысле, вполне по-бердяевски, совпадают с тем типом сознания, что господствовало в предшествующий период, то есть при советской власти. Вспомним, ведь КПСС устами Н.С. Хрущева отнесла начало коммунистически-эсхатологической фазы (новый, преображенный че-

* См. Alberto Caturelli. El Mundo Nuevo, Mexico, 1991.

ловек) также к концу второго – началу третьего тысячелетия: «еще нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Так что я вовсе не удивлюсь, если мне скажут, что тот или иной сегодняшний пророк совсем недавно расстался с партбилетом, свидетельствующим о его принадлежности к партии коммунистической мистики.

Закончим некоторыми общими соображениями. На мой взгляд, совершают ошибку те, кто выводят Россию за рамки Европы, а коммунистический период рассматривают как некое выпадение из классического пути европейской культуры. Увы, мы еще большие классики Европы, чем сама Европа. Русский коммунизм – это глубоко закономерный и общий плод взаимодействия западной и восточной ветвей европейской культуры – от античности, христианства и до позитивизма. Запад интеллектуально инициировал теории, а Восток доводил их до эсхатологического напряжения и с сердечным жаром проживал их в действительности. И с этой точки зрения не только можно, но и необходимо рассматривать сегодняшний российский кризис как кризис европейский, и соответственно мировой. Общий эсхатологический контекст современной жизни в канун третьего тысячелетия несомненен, и это плод активизма европейской традиции в целом, и западной, и восточной, в их умственно-сердечной дружбе-вражде. И на мой взгляд, чтобы разобраться в пути, приведшему к этому исходу, следует не столько противопоставлять Запад и Восток (здесь мы дальше Киплинга, с его «Запад есть Запад, Восток есть Восток», не пойдем), сколько рассматривать как полярно напряженные силы, взаимодействие которых и создавало цивилизационную динамику. В сущности история любой цивилизации определяется временем развертки фундаментального мифа, лежащего в ее основе, и его полная развертка и есть финал данной цивилизации. Где мы, в какой точке? И снова до боли знакомая картина: на Западе изобрели пост-историю и постмодернизм, а сегодня в России их проживают. Та мифоплазма, что заливают сегодня города и веся России, ведь, в сущности, и есть пост-историческое время, выстраивающее нашу жизнь по законам искусства эсхатологического постмодерна.

А.Н. Кленов

ПОЧЕМУ У НАС НЕ БУДЕТ ФАШИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

По заглавию этой статьи можно заподозрить в ней оптимистическое содержание. Прошу читателя не торопиться с таким выводом. Для оптимизма у нас теперь мало оснований, во всяком случае на ближайшие годы. Но нас запугивают бедствиями, которые нам в действительности не угрожают, отвлекая наше внимание от серьезных вопросов, – запугивают несомненно с политическими целями, потому что занимаются этими люди, стремящиеся сохранить власть или вырвать в происходящей борьбе за власть возможно больший кусок правительственного пирога, содержащего не только удовольствия самой власти, но и возможности быстрого обогащения.

В специальном приложении к «Русской мысли» за 10 июля я прочел статью «Номенклатурный реванш как угроза человечеству», с подзаголовком «Аналитическая записка». Среди напыщенной декламации, заменяющей анализ в этой записке, можно заметить страшные угрозы:

«Как кстати пришлось сегодня обеспеченное еще в апреле на VI съезде сохранение в конституции России статей о Союзе ССР! Как стройно эта *легальная* возможность отстранения президента России от власти путем импичмента

укладывается в общую диспозицию коммуно-фашистского путча, объединяющего в общей схеме и остановку производства, и (с подачи номенклатурных «профсоюзов» ФНПР и других «общественных организаций») провоцирование массовых стачек, и бесчинства пьяного отребья на улицах! И как безумно раскручивается в результате махина гражданской войны (пока еще не межгосударственной, а именно гражданской), т.е. особенно жестокой и кровавой войны с «соседями», раскручивается с участием едва ли не всех высших должностных лиц России, безнадежно погрязших в этом...»

После многоточия (принадлежащего авторам записки) перечисляются результаты «коммуно-фашистского путча», из которых достаточно привести следующие:

«Наконец, *в-четвертых*, катастрофический спад производства, гиперинфляция, либо – в случае административной фиксации цен – исчезновение всех товаров первой необходимости из магазинов, угроза голода; вследствие этого – грандиозный общественный стресс, внезапная и полная утрата оптимистических ожиданий (которые, вопреки номенклатурной пропаганде, сегодня еще свойственны, хотя и в «приглушенной» форме, большей части населения), разрушение доверия к абсолютному большинству представителей власти и к власти вообще – в сочетании с бесконечными локальными войнами в России и за ее пределами – лавинообразно погрузят всю территорию бывшего СССР в непредсказуемую по размаху массовую истерию, в кровавый хаос, из которого, на волне всеобщего безумия, выйдут на поверхность самые невероятные комбинации криминально-фашистских элементов, старой номенклатуры и реакционной военщины».

В редакционном предисловии к этой апокалиптической записке сообщается, что она изготовлена Исследовательским центром «РФ – политика», который, как это ни странно, располагается со своими компьютерами на Старой площади в Москве, в здании бывшего ЦК КПСС. Как известно, там находится теперь как раз центр новой советской номенклатуры, а в кабинетах бывших членов политбюро заседают те самые «высшие должностные лица, безнадежно погрязшие в этом». Сопоставив обличительный пыл «записки» с местонахождением породивших ее чиновников, чи-

татель может прийти в недоумение. Ведь всякое серьезное сопротивление «коммуно-фашистскому путчу», подготовляемому в этих кабинетах, привело бы к немедленному удалению этих чиновников из дома на Старой площади, а между тем они все еще там, у своих компьютеров. Чувствуя, что все это вызывает недоверие, составители предисловия могут только пробормотать заклинание: «Это один из парадоксов нашего времени».

Как известно, на территории бывшего Советского Союза штатные должности, оборудование и возможности публикации предоставляются только лицам, служащим одной из номенклатурных клик, и нетрудно установить по тексту «записки», что авторы ее служат Гайдару и его команде. Осторожно покусывая президента, они пытаются перетянуть его на свою сторону в схватке с «директорами» из ВПК. Но вся эта мышиная возня на Старой площади мало относится к тому, о чем я собираюсь писать. В сущности, объективные условия нашей хозяйственной жизни задают основное направление так называемым «реформам», независимо от того, кто из чиновников будет при этом лучше устроен. Чиновники хотят переползти из «социализма» в «капитализм», сохранив за собой руководство и все житейские блага. Это у них не выйдет, да и самый капитализм в России не получится. Но это уже другая тема, которой я не буду сейчас заниматься.

* * *

Пока я ставлю себе более ограниченную цель: выпотрошить чучело фашизма и гражданской войны, выставляемое перед публикой для использования ее симпатий и опасений. В одной из моих старых статей* я говорил уже о перспективах русского фашизма – в то время, когда его пытались привить нашему народу устроенные для этого подразделения КГБ. Точно так же и в наши дни в русском фашизме очень мало спонтанной активности и, по существу, у него те же спонсоры, переменившие должности или нет.

Но те, кто теперь пытается обустроить русский фашизм, начисто лишены политического реализма. Они пло-

* Парижский «Синтаксис», 1982 г.

хо соотносят, где прошлое и где будущее, не понимают, что фашизм у нас уже *был*. Наш отечественный фашизм, изготовленный из большевистского наследия, но настоящий на русском шовинизме, был создан Сталиным, а Брежнев привел его к бесславному концу.

Точнее говоря, классический русский фашизм – это сталинизм, вполне соответствующий гитлеровскому нацизму. Брежнев возглавлял уже постфашистский режим, гниение мертвого сталинизма. Только старые люди знают у нас фашизм по личному опыту, но обычно не понимают, что они пережили. И почему-то старые люди упорно твердят, что люди были тогда лучше нынешних – честней и храбрей. И они в чем-то правы.

Чтобы понять, в чем они правы, вспомним, что фашистов воспитал вовсе не фашистский строй. Фашистский строй воспитал людей, которых мы видим вокруг нас, а они вовсе не фашисты. Да, это «один из парадоксов нашего времени», как выражается «Русская мысль», но нетрудно разъяснить этот парадокс. Фашизм вообще – это переходное явление между отсталым обществом с феодальными пережитками и современным индустриальным обществом. Явление это возникло в тех странах, которые запоздали в своем историческом развитии и не могли конкурировать с более развитыми странами, потерпев от них военное поражение. Архаические, негибкие структуры власти в этих государствах не выдержали социального напряжения и были разрушены популистскими движениями, выступавшими под социальными или национальными лозунгами. Так было в Италии и Германии, в России и в Китае. Отношение между социальными и национальными идеями было различно, но во всех случаях вначале был капитализм, и в нем – социальное недовольство и социалистическая пропаганда; затем – поражение в войне и послевоенная разруха, несостоятельность внутренней политики социалистов (или коммунистов); приход к власти людей, переводящих социальное недовольство в русло национализма и отвлекающих его внешней экспансией; наконец, поражение внешней агрессии, разрушение фашистского строя и возвращение к «нормальному» капиталистическому развитию.

История фашизма зависела, конечно, от местных условий и внешнего окружения, но во всех случаях можно про-

следить одни и те же тенденции. Сначала всюду был марксизм, с красным знаменем, первомайскими демонстрациями и пролетарским интернационализмом. Затем консервативная государственная власть втянулась в большую войну, поставив этим социалистов перед совершившимся фактом. Германия проиграла войну; Италия, Россия и Китай по существу тоже проиграли войну, хотя формально и оказались на стороне победителей. Все эти страны испытали катастрофическую послевоенную разруху, крушение денежной системы, общую деморализацию народных масс. В этих условиях социалисты (или на востоке коммунисты) попытались применить свои доктрины, но их планы провалились. В Германии и Италии им пришлось действовать парламентскими методами; в России и Китае, где государственная власть оказалась слабее, коммунисты захватили власть, но и здесь завели хозяйство в тупик. Социализм в исполнении марксистов везде обнаружил свою несостоятельность, и к власти пришли националисты, использовавшие в той или иной степени его наследство. Гитлер и Муссолини соединили шовинизм с социальной демагогией и в значительной мере подчинили экономику своим партиям; Сталин и Мао тоже перешли к национальной идеологии, сохранив фикцию марксизма, и сумели полностью подчинить себе экономику своих стран. Прежние борцы за социализм во всех случаях были истреблены. Национализм также неспособен был справиться с экономикой и искал выход во внешних авантюрах. Германия и Италия были разбиты во второй мировой войне, что и положило конец фашизму в этих странах. Советский Союз и Китай вступили на путь милитаризма, провоцировали конфликты с соседними странами и разжигали их в далеких странах; эта деятельность встретила сопротивление западного мира и провалилась. Наконец, в России фашистская система обрушилась; в Китае она тоже приближается к концу.

Пусть читатель простит мне этот скучный урок социологии. У нас все еще много людей, не понимающих, что сталинизм был обыкновенным фашизмом. Конечно, экономика России была абсолютно подчинена партийному аппарату, но и в Германии рейхсфюреры и рейхсминистры все больше забирали в свои руки хозяйственное руководство. Конечно, Сталин говорил о «дружбе народов», а Гитлер –

о «новом порядке в Европе», Сталин сохранил марксистскую фразеологию, а Гитлер – только лозунг «социализм». Но сущность власти не в том, что она говорит, а в том, что она делает, и здесь аналогия превращается в тождество. У нас был фашизм, а поскольку фашизм всегда принимает национальный цвет, это был *русский фашизм*.

Итак, надо прежде всего понять, что фашизм уже был у нас в *прошлом*, а не предчувствовать его в будущем. Я докажу, что в будущем его не может быть. Не может быть с той же достоверностью, как не может быть, чтобы французы восстановили у себя монархию, или англичане еще раз казнили своего короля. Надо уметь различать вероятные явления от невероятных, для чего требуется некоторая ясность мышления. Публицисты, пророчествующие теперь в российских газетах и журналах, вряд ли могут в этом помочь; перифразируя Писарева, можно сказать, что никакой автор не может сделать своего читателя умнее самого себя.

Фашизм не воспитывает фашистов, а берет их из предшествующей ему общественной среды. Как говорил Маколей, «первые плоды, пожинаяемые при плохой системе, часто вырастают из семян, посеянных при хорошей». * В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти в Германии, его рядовым штурмовикам было лет двадцать-тридцать, а руководящим кадрам его партии – лет сорок. Остов этой партии составили бывшие солдаты и офицеры первой мировой войны. Фашисты были немецкие мелкие буржуа – лавочники, ремесленники, чиновники, крестьяне и отчасти рабочие; они получили воспитание в старой кайзеровской Германии, в духе немецкого консерватизма, повиновения начальству и церковной обрядности. Это было крепкое немецкое мещанство, способное к упорному труду, вере и самопожертвованию, что и доказала вторая мировая война. Конечно, все эти добродетели были направлены к дурным целям, но невозможно отказать фашистам в прочных психологических установках. Напротив, люди, воспитанные при фашизме, оказались совсем другим человеческим типом, быстро сменившим свои психические установки. Человек, которому в 1945 году было 15 лет, получил в детстве

* Эссе о Маккиавелли.

и отрочестве полный заряд фашистской идеологии; но он прожил всю свою взрослую жизнь в условиях либеральной демократии и, за редкими исключениями, отнюдь не боролся за внушенные ему идеи. Из него вышел законопослушный мещанин скорее американского, чем старонемецкого типа. Я вовсе не хочу сказать, цитируя Маколея, что почва, вырастившая немецких фашистов, была в самом деле хорошей. Она была намного лучше того, что сделали из ее отпрысков – вероятно, это и хотел сказать великий историк, как видно из контекста приведенных слов.

Большевикам, устроившим октябрьский переворот, было в то время тридцать-сорок лет, а новым членам партии – двадцать-тридцать. Все они выросли при самодержавии, это были русские интеллигенты, рабочие и крестьяне, большею частью прошедшие мировую войну. Они получили, как правило, религиозное воспитание и воспитывались в семьях с крепкой патриархальной традицией. Ленин верил в бога до шестнадцати лет, а отец его скорбел о мученической смерти убитого царя. В интеллигентских семьях детям внушали понятия, не имевшие ничего общего с практикой террора. Большевики были сильным человеческим типом, они твердо верили в свое учение, приносили ему все возможные жертвы. Я видел последних уцелевших большевиков, прошедших сталинские лагеря: они верили в то же, с чего начинали свою борьбу.

Фашизм не способен создать крепкий человеческий материал, он попросту переводит человеческий запас, доставшийся ему от прошлого, а затем – разваливается. В России, не претерпевшей военного поражения при советской власти, этот процесс можно проследить с начала до конца, а в Китае, где все еще правят дряхлые ренегаты революции, он подходит к концу. Фашизм разрушает, но не творит. Он разрушает и человека, но не творит человека, он оставляет жалкие человеческие отбросы, среди которых мы задыхаемся теперь. Все лучшее, что у нас есть, это пережитки досоветского прошлого, дети уцелевших старых семей, читатели уцелевших старых книг. Если вы хотите найти у нас приличных простых людей, вы скорее всего найдете их в глуши, подальше от настроенных коммунистами городов.

* * *

Наш современный фашизм – это искусственный продукт, зачатый в пробирках КГБ. Уже известно, откуда взялись его руководящие кадры, кто предоставлял ему типографии, кто обеспечивал безопасность распространения его стряпни. Идейное перерождение коммунистической партии можно коротко описать как превращение красного цвета в коричневый: теперь это уже всем очевидно. Начало этому процессу положил Сталин, сменив незадолго до войны пролетарский интернационализм на русский шовинизм. Разумеется, до этого мы имели уже фашизм под красным флагом. Но ведь у немецких нацистов тоже был красный флаг, только со свастикой внутри, и были первомайские демонстрации, когда они шествовали под красными флагами. Как мы уже знаем, фашизм – продукт вырождения социализма, отсюда красный цвет.

Конечно, превращение советского коммунизма в русский шовинизм имело свои мотивы. Мы живем в эпоху, когда, вслед за религиями, разрушились выросшие из них «идеологии», в частности, последняя ересь христианства – марксизм. Народные массы, нуждающиеся в духовной опоре, возвращаются в таких случаях к более элементарным и, как им кажется, неотъемлемым ценностям – племенным. В психологии индивида этому соответствует явление регрессии: после тяжелого переживания взрослый человек часто возвращается к понятиям и привычкам своего детства. Явление национальной регрессии вызвало некоторые надежды в старой русской эмиграции, следящей с понятным интересом за возвращением самого имени «Россия», трехцветного флага и даже, непостижимым образом, двуглавого имперского орла. Надежды эти напрасны.

Племенная регрессия в двадцатом веке составляет часть общего распада христианской культуры. на месте ее возникает переходное состояние, замеченное социологами и получившее имя «вторичного варварства». Как всегда в случаях распада культуры, прежде всего распадается присущий ей стиль – осмысленное единство культурных явлений. Исчезает хороший вкус, повсюду воцаряется крикливая, разноцветная, глянцевиная халтура. Исчезают серьезные мотивы поведения, на место их приходят карьеризм, торгашество и реклама. Ученые готовы принять любые суеверия,

а священники – любые компромиссы. В общем, возникает современное западное общество, слишком известное, чтобы его надо было объяснять. В таком виде оно долго существовать не может, это переходная эпоха, и хотелось бы знать – к чему. Но и это не входит теперь в мою тему. Меня интересует теперь не перспектива столетий, а несколько ближайших десятилетий, когда западное общество будет меняться столь медленно, чтобы Россия могла ему подражать.

Вторичное варварство в психологическом смысле совсем не похоже на первичное. Настоящий варвар груб, но силен и свеж душою; вторичный варвар тоже груб, потому что все его духовные потребности упрощены, но в нем уже нет силы, и он не способен меняться, то есть не свеж. Первый – человек начала истории, а второй, может быть, человек конца. Впрочем, скорее всего, кончается не история нашего вида, а Новая История, или Христианский Материализм.

Для нас здесь важно только одно свойство *вторичного* варвара: он слаб, не способен к подвигу и самопожертвованию, а следовательно, социально бессилён. Это относится вообще к современному человеку, он *homo reliquus*, остаточный человек христианской культуры. Таков же и современный русский человек. В нем просто нет материала, чтобы сделать из него фашиста. Современный русский националист подобен гнилой луковице: сколько оболочек с него ни сдирай, он ни на что не годится.

Наш обыватель – прежде всего *чиновник*, представляющий себе жизнь только под руководством начальства – все равно, какого начальства, но избавляющего рабскую душу от необходимости делать выбор и отвечать за свои поступки. Даже если это молодой человек, не желающий работать, а предпочитающий устраивать уличные беспорядки, он должен быть уверен, что какое-то начальство этого хочет и, значит, никакого риска в этом нет. Люди, распространявшие погромные сочинения, успокаивали сомневающихся, заверяя их, что здесь нет ничего антисоветского, что все это одобрено КГБ. По-видимому, их наниматели хорошо знали, какой публике они адресуют свою литературу. Но ведь эта публика не годится для серьезного дела. Фашистские путчи – и даже простые погромы – требуют

некоторой храбрости и самостоятельности. Советский обыватель не решится нарушить установленный порядок, если достаточно авторитетное начальство не даст ему формальных указаний: вспомните, что он в душе чиновник, а чиновнику требуется оправдательный документ. Даже имея такие указания, он не проявит особенного пыла в разрушительных действиях, потому что может объявиться другое начальство, которое этого не одобрит. Он будет сомневаться, пока фашизм не станет признанным государственным строем; но кто же установит такой строй, если все таковы, как он? Августовский путч прошлого года ярко иллюстрирует, чего стоят наши ретрограды. Казалось бы, высшие государственные власти заверили их, что можно безнаказанно двигаться в желательном направлении – к твердой власти, наказанию всяких демократов и интеллигентов, подавлению других наций. Но те, на кого рассчитывали путчисты, кого долгие годы готовили агенты КГБ, отсиделись дома. Наши жалкие демократы смогли вывести на улицы некоторую часть публики, но никто не видел ни малейшей инициативы наших почвенников. В рискованных случаях они струсят и будут ждать, чья возьмет – вот вам и весь нынешний национализм.

Решительное доказательство бессилия наших «коричневых» – это их миролюбие. Настоящие фашисты неудержимо стремятся к насилию, без этого спонтанного стремления нельзя представить себе никакой серьезный фашизм. Сначала должны быть штурмовики, готовые убивать, а потом их могут организовать какие-нибудь фюреры, если такие найдутся. Во время брежневского застоя гебисты всячески разжигали национальные страсти и, как будто, встречали сочувствие у значительной части публики. Но успех такой пропаганды измеряется насилием. И вот, оказывается, каждый акт насилия гебистам приходилось устраивать самим. Единственный результат этой политики был тот, что удалось напугать некоторую часть советских евреев, что было нетрудно. Но ведь хотели не этого, хотели на антисемитизме вырастить народное движение и переставить на него идеологию. Не вышло.

Могут возразить, что брежневские комбинаторы и не хотели особенной спонтанности, а рассчитывали повести за собой массы в нужный момент. Ну что ж, настало кри-

тическое время, когда власть ослабела до крайности, вываливаясь из рук партийного начальства. Самое время было вызвать народную стихию на защиту национальных ценностей. Опять не вышло. Было намерение, был аппарат, отпускались деньги, а фашизма никак нет. Наши новоиспеченные фашисты не сумели устроить даже самый скромный еврейский погром. Каждая попытка гебистов в этом роде сводилась к бессильным крикам, а при первом сопротивлении крикуны мирно удалялись.

Не было даже «террористических актов», столь характерных для фашистов. В Германии перед их приходом к власти все время кого-нибудь убивали; в России перед революцией не прекращалась эпидемия бессмысленных убийств. В нынешней России провозглашаются фашистские лозунги, но не видно фашистских поступков. Вообще, в России не заметно никакого *политического* возбуждения. В отделившихся советских республиках национальные страсти разжигает правящая там мафия, то есть та же номенклатура в местных разновидностях. Местами это ей удается, но и там большинство народа хочет, чтобы их оставили в покое. Я говорю только о России; впрочем, почти то же можно повторить об Украине и Белоруссии, где была примерно та же история и сложился похожий человеческий тип.

Самая очевидная черта нынешнего русского человека – это его неспособность к вере и, вследствие этого, слабость личности. Основной факт, из которого надо исходить при оценке нынешнего положения России – это катастрофический упадок личной и общественной энергии. Чтобы что-нибудь делать, надо верить в свое дело. Без веры нельзя даже построить капитализм, и верить надо вовсе не в рыночное хозяйство. Не так строился капитализм там, где он начинался, и не такими людьми. Корыстные мотивы сами по себе – бессильны.

Теперь часто вспоминают семнадцатый год, проводя поверхностные аналогии. Тогда была анархия, и теперь тоже, но ведь Россия не та! Тогда, после трех лет мировой войны, Россия полна была жизненных сил, и сотни тысяч людей готовы были жертвовать жизнью за свою веру. У нас были настоящие политические партии, и члены этих партий верили в свой партийный идеал, как первые христиане во

второе пришествие. Герои гражданской войны были сильные люди, и с той, и с другой стороны. И победили те, кто крепче всех верил в свой идеал – большевики. Я оставляю в стороне вопрос, хороший это был идеал или плохой, но надо отдать должное большевикам: они верили в него. Так вот, видите ли вы вокруг себя людей, похожих на большевиков? Не правда ли, этот вопрос вызывает смех? Видите ли вы вокруг себя офицеров, готовых умереть за свою честь, эсеров, спорящих из-за чести бросить бомбу, интеллигентов, готовых умереть за учредительное собрание? Эти люди творили чудеса, а мы нечудоспособны.

В обществе, где люди не верят в свои идеи, не может быть фашизма. В обществе, где люди не готовы умирать за свои идеи, не может быть гражданской войны. Дрова в печи выгорели, а теперь пытаются поджечь воду.

* * *

Есть еще одна сторона общественной жизни, которой мы резко отличаемся от России семнадцатого года. Это низкий уровень умственного развития, препятствующий любой политической деятельности. У нас нет людей, способных быть лидерами партий, нет грамотных журналистов, нет даже толковых бюрократов. Фашизм, который у нас уже был, оставил нам кадровые отбросы, из которых нельзя построить никакую энергичную политику – в частности, никакой новый фашизм. Это безрадостная картина, но ведь я и не обещал особенных радостей. Я обещал только показать, почему у нас невозможен фашизм и не будет гражданской войны.

Присматривались ли вы к нашим фюрерам? Похож ли Васильев на человека, способного повести на штурм каких-нибудь штурмовиков? Похож ли Жириновский на диктатора, способного что-нибудь диктовать? Ясно, что ему диктуют другие, а он старается заучить. Диктуют те же, кому он всегда служил. И очень интересно, что никого лучше они не смогли найти. Испугаться наших фашистов может только истинно *советский* еврей. Что же касается наших «так называемых демократов», то они попросту используют чучело фашизма для своих карьерных целей, о чем я уже говорил. Все это очень печально. Подумайте, Россия дошла

до того, что не может произвести даже такую дрянь, как фашизм!

Но слава богу, что она не может его произвести. Наша жалкая слабость – это наша единственная надежда, и нетрудно понять, почему. Россия нуждается теперь в достаточно длинном периоде ненасильственного развития, без чрезмерного давления идеологий и партийных программ. Проще всего объяснить это с помощью исторической аналогии.

Первой революцией – в смысле Нового Времени – была английская, начавшаяся в 1641 году. Затем была гражданская война, которую возглавил Кромвель, и в 1649 году, после победы республиканцев, англичане казнили своего короля. Затем была диктатура Кромвеля, поддержанная воинственными фанатиками – пуританами, во многом напоминавшими наших большевиков. В 1660 году была восстановлена монархия, ограниченная контролем парламента. Когда, однако, выяснилось, что Стюарты неспособны к конституционному правлению, в 1688 году их бескровно изгнали, устроив так называемую «Славную Революцию». С той поры и началась прославленная английская свобода, и в Англии установилось «правовое государство», послужившее примером всем остальным. Вскоре после этого, в 1695 году, в Англии была отменена цензура: свобода печати, как известно, основа всех других свобод.

Смысл этой Славной Революции был в том, что нация устала от революции, не желала больше гражданской войны, и вообще всем надоели идейные конфликты. Англичане хотели спокойной жизни, и следствием этой слабости духа был гнилой компромисс между разными общественными силами позволивший стране обходиться без дальнейших кровопролитий и беззаконий. Уцелевшие пуритане негодовали, сторонники законного короля возмущались: все принципы были принесены в жертву практическим удобствам жизни. Этот гнилой компромисс – неуклюжая сделка между представителями разных интересов – постепенно превратил Англию в богатейшее и самое свободное в мире государство, где все были вправе проповедовать любые принципы, хорошие и дурные, но никто не вправе был навязывать их другим. Потому что основой этого компромисса было решение установить строгую законность, и с

тех пор англичане не жалели о таком решении. Формальное применение закона, выбранное ими, не обещало им в будущем рай на земле, но эта практичная нация довольствовалась тем, что больше не повторится ад.

Я не собираюсь обсуждать здесь вопрос, можно ли устроить рай на земле, и как это сделать. Но представительное правление и рыночное хозяйство, то есть современный капитализм, это лучшее из решений социального вопроса, найденное до сих пор. Потому мы и учимся английскому языку, а русскому никто не торопится учиться, потому что на этом языке слишком долго говорили глупости.

Нет, я не поклонник капитализма. Я вовсе не думаю, что человеческий дух остановится, приняв за высшую мудрость этот гнилой компромисс. Но теперь нам надо выжить и научиться, как теперь говорят, цивилизованному образу жизни. Иначе говоря, нам надо кое-что заимствовать у капитализма и, прежде всего, твердый законный порядок.

Значит, наша Славная Революция впереди.

В. Сорокин

ОЧЕРЕДЬ

РОМАН

— Месяца двести тридцать пять.
— Уу... так это там где-то. Впереди.
— Там?

— Спасибо...
— Я тоже пойду туда.
— Там жена стоит.

— Ааа...
— Она тысяча триста пятнадцать
— Нет еще.
— А сколько осталось?
— До нее человек, значит, меньше.

— Возвремя проснулся.
— Чего, перебрал, что ли?
— Немного. Алкаш какой-то смутил.
— Бутылку на двоих, и до этого немного...
— Редко пьешь, наверно, человек...
— Да. Я вообще-то не пью... ух ты, как растянулся.

— А шас так?
— По-другому.
— А ведь, по-моему, по-другому было...
— Как... ой...
— Да. Тут теперь дворами сидят.
— Ты бы лицо вымыл. Холодной...
— Какое... ой...
— Ты бы лицо вымыл. Холодной...
— гнилое дело.

Александр Кустарев

ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Andre Zeiten, andre Vögel,
andre Vögel, andre Lieder,
die gefielen mir vielleicht,
Wenn ich andre Ohren hätte.
Heine*

Гласность изменила вкус, цвет и запах русской литературы. Появился и возобладали новый тип литератора; изменились мотивы литературной деятельности и преобладающий тон вербального поведения.

Это не было перерождением. Процесс трансформации шел достаточно плавно. Ни один из элементов, явно обозначившихся в русской литературе после 1984 года, не был сам по себе совершенно новым. Их все можно обнаружить в текстах (особенно если не игнорировать самиздат) более раннего времени; некоторые восходят к 50-м годам. Но теперь – количество перешло в качество и литература стала другой.

Новый ландшафт литературы на самом деле предстал перед нами впервые еще до гласности, в середине 70-х годов. За рубежом оказалась достаточно большая активная литературная масса, и на передний план выдвинулся вполне характерный тип литератора со специфическим типом вербального поведения. В культурном смысле это было очень многозначительное явление, позволяющее на самом деле лучше понять трансформацию советского общества в целом. Имея это в виду, мы и займемся этим явлением.

*

Я начну со своих первых впечатлений от русской литературы за рубежом, которые пришлось на самый конец 1981-го года. Как и все, я накинулся на русские журналы и газеты, издававшиеся в Нью-Йорке, Лос Анджелесе, Париже, Тель Авиве и других провинциальных дырах, и пару месяцев имел кайф. Природа этого кайфа такова: приятно было, наконец, увидеть набранные типографским способом слова, существовавшие до тех пор только для моего уха.

Мне повезло. Живя в Калифорнии, я познакомился с одним человеком, который как раз в то время создавал небольшой реферативный журнальчик русских публикаций за рубежом. Я опытный энтузиаст реферативного дела и с удовольствием примкнул к этому бизнесмену не без некоторой надежды, что со временем его журнал может стать для меня маленькой дополнительной кормушкой.

Так случилось, что в последующие года полтора я читал практически все, что публиковалось по-русски за границей. Так что мои впечатления основаны на массивном и детальном знакомстве с тем, что я называю «литературной самодокументацией оппозиционной субкультуры» в России. В дальнейшем я буду говорить об этой субкультуре огульно, но сейчас назову несколько имен для читателей, которым без «имен» – скучно. Особенно известные носители культуры, о которой я говорю, это, например, Максимов, Зиновьев, Войнович, Аксенов, Коротич, Гамсахурдия. Это чемпионы, поскольку они публичные фигуры первого ранга. Я добавлю еще три имени, менее известных: Восленский, Шляпентох, Зубов. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы вспомнить о них как о персонажах моих же трех

статей под общим заглавием «Очерки социально-философского фольклора советской интеллигенции», опубликованных в середине 80-х годов в журнале «22». Эти очерки были моей первой попыткой выйти из смятения чувств, в которое я впал в результате полутора лет добровольно-принудительного чтения русских публикаций за рубежом.

Но дело не в личностях. Речь пойдет о литературе в целом и о некоем среднем типичном литераторе, действующем лице, роли, характере.

*

Есть старый анекдот. Приехал советский человек за границу. Зашел в пивную. Подбегает человек. Советский человек говорит: кружку пива и коммунистическую газету. Человек приволок кружку, а про коммунистическую газету говорит: не держим.

Советский человек кивнул, выпил пиво и заказывает опять: кружку пива и коммунистическую газету. Человек повторяет: коммунистической газеты не держим.

Так было несколько раз. Наконец официант не выдержал и раздраженно говорит: коммунистической газеты не держим, сколько раз нужно повторять?

И тогда советский человек, как и следовало ожидать, мечтательно пропел: а вы повторяйте, повторяйте...

*

Вот такой анекдот был рассказываем на моей памяти, когда я еще жил в стране, которой теперь нет. В нем воплотилась мечта людей, обреченных жить изо дня в день лицом к лицу со злополучной и всем надоевшей коммунистической газетой.

И вот для многих эта мечта осуществилась. Издатели и авторы русской литературы взяли на себя роль официантов, повторяющих для клиентов то, что им было приятно слышать: коммунистической газеты не держим, советская власть бьяка и бука, Ленин сифилитик и гангстер, тоталитаризм, империя зла, партийные – непорядочные, а мы – порядочные...

Повторяйте... повторяйте... И повторяем, повторяем. Для вас, господа, для нас, господа. Для самих себя – господ, поскольку фигуры официанта и клиента в данном случае почти совпадают; мы имеем дело с типичным литературным самообслуживанием.

*

Что же я увидел, читая в 82-83 годах (а эпизодически и позже)? Я увидел и легко опознал интеллигентский фольклор, сложившийся в конце пятидесятых годов, ну, может быть, в начале шестидесятых. Все было чудовищно знакомо, наизусть известно, уже заезжено, захватано, занюхано.

Почему я так раздраженно комментирую истэблишмент русской словесной активности за рубежом? Неужели я не понимаю, что регулярная словесность живет воспроизведением клише – языковых, эмоциональных, политических? Я, может быть, не понимаю, что это происходит не только потому, что большинство участников литературного процесса ничего другого не умеют? Да, я понимаю, что это происходит потому, что так надо.

Если лондонская газета «Индепендент», которую я обзавался ежедневно читать, будет экспериментировать и станет завтра публиковать нечто, совсем не похожее на вчерашнее, я ведь эту газету читать не смогу; технически не смогу. Ведь я должен прочесть газету за четверть часа во время завтрака. Если мне попадутся материалы, плохо распознаваемые, то есть каким-то образом новые, я не смогу через них продаться.

Итак, что же плохого, что русская литература за рубежом двадцать лет пережевывала официантскую фразу «коммунистической газеты не держим»?

А вот что плохого. Клише, которые я имею в виду, произносились с харизматическим пафосом. Жившие в эмиграции писатели делали массовку, а вели себя так, будто они Томасы Манны и Кафки, Достоевские, Цветаевы или Зоценки.

Воспроизводство интеллектуального фольклора, как я уже говорил, дело газет. Но в эмиграции публикаторы работали не для газет. По теме, формату и стилю они

ориентировались на традицию, воплощенную в так называемых «толстых журналах». А публикуемое в толстых журналах, согласно русской иерархии, имеет другой статус. Предполагается, что это литература более высокого разряда, как принято говорить в России, «настоящая литература».

Вполне понятно, почему романы, скажем, Войновича или Максимова «популярны». Но у них же и репутация «настоящей» литературы. То, что критика преподносила их публике «всерьез», отчасти тоже объясняет их популярность. Ведь публика тоже приучена почитать только «настоящее». Без справки от «экспертов» она внимания к автору не проявит, и хвалить его побоится.

Я вспоминаю, как однажды в разговоре с приятелем (дело было в Америке) я мимоходом заметил, что Саша Соколов довольно-таки ерундовый писатель. Мой собеседник посмотрел на меня внимательно и сказал: «Ну, вы разберитесь между собой насчет Саши Соколова. А то один говорит – хороший, другой говорит – плохой». Мой приятель сделал мне честь, поставив меня на одну доску с кем-то еще, кому он безусловно доверял и от кого раньше слышал нечто противоположное. Читатель, не видящий единодушия у критиков, пугается...

Я не упрекаю эту литературу (включая клеветов-рецензентов) в циничной саморекламе. Если бы это была просто циничная самореклама, то писать о ней было бы неинтересно. На самом деле активные агенты этой литературы (включая активных читателей) переживали свою значительность как подлинную, были вполне искренны и сами не понимали, что происходит.

Антисоветский культурный набор фольклоризировался и клишировался даже не в свободной русской прессе за рубежом, а еще в подполье, где он существовал устно. Если бы он не клишировался, то он не выжил бы в том виде, в каком он выжил: для хранения устной традиции нужна какая-то масса людей, а масса запоминает и передает только клише; собственно, все, что не теряется, то повторяется и в силу этого – клише. К тому же клише нужна «репутация». Непрестижное клише никто повторять не заинтересован.

Так исторически возникла литература, для которой характерно сочетание элитарной позы с популярностью языка и фактуры, если хотите, содержания. Это имеет катастрофические последствия.

Прежде всего и публицистика и проза (трудно отличимая от публицистики) отличается поразительной риторической перенапряженностью, высокопарностью, ложной многозначительностью, вымученной саркастичностью. Когда это читаешь, все время вспоминаешь: «Друг Аркадий, не говори красиво.» Все-таки Тургенев был действительно человек великой наблюдательности. Типологизирующие социологи и социальные психологи могли бы многому у него научиться, если бы смотрели туда, куда надо, а не ворон считали бы. Один тип, зафиксированный Тургеневым, все же осел в свое время в сознании комментаторов общества. Это, конечно, «базаровщина». Мало кто, однако, придал большое значение второму типу, которым сам Тургенев был занят не меньше. Это – «кирсановщина».

После того, как с «базаровщиной» в последние десятилетия разделались, именно «кирсановщина» пышным цветом расцвела в русском сознании, выплеснулась широким потоком в русской литературе за рубежом, а теперь и в самой России.

Возможность аристократничать и важничать при повторении заезженных клише предполагает уверенность произносящего в том, что он вполне оригинален и приносит нечто, ведомое ему одному.

Мы говорим таким образом о неотрефлексированном тривиальном фольклоре. На простом языке ему, я думаю, вполне соответствует понятие «пошлость»; ведь пошляк не тот, кто говорит общеизвестное, а тот, кто говорит это с видом оригинала.

Я приведу один пример, поразивший меня в свое время как идеальная иллюстрация к тому, что я говорю. Существует американский документально-художественный фильм

об академике Сахарове. Фильм этот был сляпан левой ногой и держался только на своей политической сенсационности. Для большей авторитетности участвовать в фильме были приглашены несколько видных актеров. Для них это была, очевидно, и акция политической солидарности с Сахаровым – он тогда сидел в ссылке.

В этом фильме есть такой эпизод. Елену Боннэр играет Гленда Джексон. Во время какого-то приема героиня поднимает бокал и произносит тост: за успех нашего безнадежного дела. При этом Гленда Джексон пускает в ход весь свой богатый технический арсенал, чтобы показать, как ей вот только сейчас этот тост пришел в голову. Иначе говоря, Гленда Джексон играет «откровение и импровизацию».

Почему Гленда Джексон выбрала такую версию? Ведь такому маститому мастеру, как она, ничего не стоило показать, например, что героиня знает, какую стандартную и ритуальную фразу она произносит.

Гленда Джексон – иностранка. Она не знала, каков статус и функция тоста «за успех нашего безнадежного дела» в русском языке. Возможно, что ориентируясь на иностранцев, она вообще могла себе позволить не задумываться над такими тонкостями. (Тут, впрочем, стоит вспомнить, что лозунг французских студентов 68-го года «Будьте реалистами – требуйте безнадежного» мог бы вызвать у нее какие-то ассоциации).

Но мы не иностранцы. И наше знание контекста сразу вызывает у нас чувство неловкости. Для нас это – типичный неотрефлексированный фольклор, подаваемый как собственное изобретение. То, чего всеми способами должна избегать литература, которую мы хотим считать «настоящей».

*

Хорошую литературу делают не знание фольклора и клише, а чувствительность к ним. В русской литературе за рубежом эта чувствительность оказалась очень притуплена. Это было очень заметно в случае особого рода публикаций, очень популярных у зарубежных литераторов (наверное, и у читателей). Я имею в виду сборники анекдотов.

Для критика особенно интересны те сборники, на которых написано: анекдоты обработаны. Стало быть, это не точные этнографические записи (как они могут выглядеть в случае анекдота, я не знаю), а своего рода литература. Легко заметить, что обычно литературная обработка безалаберна и топорна: анекдоты ухуждены.

Вообще, обработка устного анекдота это ведь самое мясо литературы. Если мы кое-что понимаем насчет жанров, то должны представить себе, как разнообразны должны быть литературные приемы, позволяющие превратить ходячий анекдот в литературу. Лучшие же модификации анекдота имеют место тогда, когда исходный анекдот вообще неузнаваем в конечном продукте...

*

Чем объяснить тенденцию присвоить себе фольклор и выдать его за собственный продукт? Можно предложить два объяснения, от которых мы потом перейдем еще к некоторым критическим соображениям по поводу современного русского литературного поведения.

Во-первых, русские литераторы пали жертвой той функциональной роли, которая им была отведена на западных литературных рынках. Роль эта выглядела примерно так. Русский писатель должен быть жертвой властей. От него ждут «мрачной правды» о советском режиме. Он должен быть моралистом. Русский писатель для западных рынков был чем-то вроде экзотических национальных (чтобы не сказать «нацменских») писателей в общей структуре большой советской литературы, которую создавала Москва в 30-х – 60-х годах. Западному рынку были нужны «Джамбулы».

Во-вторых, привязанность агентов русской литературы за рубежом к фольклору была следствием их гомерического провинциализма. Я имею в виду «провинциализм» в самом универсальном смысле этого слова. Я имею в виду полную погруженность в «свое» и почти патологическое безразличие ко всему «чужому». До конца 80-х годов (когда начались активные процессы в самой России) в зарубежных русских публикациях муссировались все те же несколько имен, те

же несколько идей, тот же набор реалий. И во всем этом, как я уже говорил, легко узнавалась культура самиздатского салона 60-х годов. Представители этой культуры, казалось, были совершенно уверены, что на Западе ничего заслуживающего их внимания не существует.

Это убеждение усиливалось еще двумя обстоятельствами. Во-первых, культура Запада оказалась куда более «социалистической», чем русское подполье 60-х годов предполагало. Вместо того, однако, чтобы заинтересоваться, почему это так, стандартный русский эмигрант проникся еще большим презрением к Западу. Он ухватился за мелодраматическую формулу «мы не в изгнании, мы в послании» и быстро убедил себя в том, что его задача – просвещать Запад, а не просвещаться самому.

Бессмысленно было бы перечислять то, что вообще не попало в поле зрения литературных активистов подполья, а затем и эмиграции. Я приведу лишь один пример. За десять лет жизни на Западе я не услышал ни от одного русского человека и не увидел ни в одной русской публикации имя Джона Мейнадра Кейнса. А между тем именно Кейнс был ключевой фигурой в процессе оформления того общества, куда «элита», отсеенная ситом ОБИРа, попала. И то, что ее в западном обществе так восторгало (потребительский рай), и то, что ее так возмущало (высокие налоги и социализм), имеет прямое отношение к Кейнсу. Прожить 10-20 лет на Западе и не заметить Кейнса и кейнсианство, это все равно, что для американца было бы жить в России в 60-х годах и не заметить Хрущева...

Между тем, главные работы Кейнса, включая его фундаментальный и эпохальный труд, были переведены на русский язык в середине 70-х годов. Почему их не комментировала (не пережевывала) русская общественность, я надеюсь, понятно. Но ее «элитарное» отвращение за рубежом было ведь вольно делать что угодно? А оно даже в справочник не заглянуло.

И еще один пример. В этом случае речь идет об имени, кем-то замеченном и предложенном вниманию эмигрантской общины.

... Как-то раз я просматривал большую коллекцию журналов «Время и мы». Они лежали штабелями в квартире одного моего американского приятеля. За одно утро я про-

листал штук 50 номеров этого журнала. И таки наткнулся на что-то интересное. Это был перевод главы из книги Якова Тальмона «Происхождение тоталитарной демократии». По логике вещей этот автор и его работа имели все шансы стать популярными сигналами в русской литературе за рубежом, коль скоро они уже были упомянуты однажды.

Увы, эта инициатива не была никем поддержана. Публикация была сделана, камень был брошен в воду, но вода не шелохнулась. Между тем, Тальмон интересен как раз тем, что предложил нестандартную концепцию «тоталитарной демократии». Это понятие, разумеется, куда сложнее, чем облюбованное журналистами слово «тоталитаризм». Но термин Тальмона неудобным образом соединяет в одном понятии «хорошее» и «плохое» слово. А обыденное сознание русской интеллектуальной элиты больше всего боится парадоксов, противоречий и непонятного. Оно стремится к комфорту очевидного. Зачем ему умники вроде Тальмона?

Похожая судьба постигла и Ханну Арендт. К счастью (к несчастью) для нее ее имя плотно привязано все к тому же пресловутому понятию тоталитаризма. Поэтому в корзину умственного потребления русского эмигранта Ханна Арендт попала. Увы, как всегда в подобных случаях, чтобы превратиться в пустой престижный знак, в интеллектуальный шибболет. Все богатство ее мысли было успешно и слепо проигнорировано.

Я привел лишь пару примеров. Их без труда можно было бы умножить. Даже то, что русской интеллектуальной общиной за рубежом было оприходовано, превратилось в ее руках в камень, который тут же рассыпался в пыль. Даже любимцы умничающей русской эмиграции Милтон Фридман и Фридрих Хайек, которых было принято считать наиболее последовательными идеологами капитализма, русской публицистикой стерилизованы и превращены в тупых догматиков.

*

Как всякий экстремальный провинциализм, провинциализм русско-интеллектуальной общины за рубежом убеж-

ден в своей столичности. Все помнят мадам Соловейчик из Жмеринки, однажды поинтересовавшуюся, куда это подевался молодой шустрый Рабинович, подававший большие надежды. Ей объяснили, что Рабинович уехал в Париж. Мадам Соловейчик, заподозрив неладное, спросила, а далеко ли Париж от Жмеринки. Пару тысяч километров – было отвечено ей. Ай, Боже мой, огорчилась мадам Соловейчик, какая глушь!

Великолепное безразличие русской зарубежной умственной общины ко всему, что находится на некотором отдалении от нее, сродни коренному убеждению мадам Соловейчик, что в десяти верстах от Жмеринки начинается пустыня, где ничего не растет.

Для живущей в Париже и Нью-Йорке русской интеллектуальной Жмеринки даже Москва оказалась пустыней. Уезжая из Москвы все то, что было там «на слуху» 30-20 лет назад, они забыли, где располагается источник той премудрости, которую они подобрали в виде слухов, бродивших по подпольным салонам. Москва продолжала трудиться, в некоторых секторах академического истеблишмента рождались более свежие идеи, шло худо-бедно освоение интеллектуальных накоплений Запада. Но эмигрантский истеблишмент продолжал вариться в том же соку.

Когда, вдохновленные в совсем других коридорах, гласность и перестройка вышли на открытый воздух, литературно-умственный эмигрантский салон растерялся. Во-первых, сценарий этого не предполагал. Во-вторых, отпала надобность в героизме. В-третьих, вполне обнаружилось, что общие думы – это общие думы, а те, кто вещал общие думы как свои, лишились монополии и блеска оригинальности.

Тут и появилось на свет так называемое «письмо десяти»*, подписанное теми, кто искренне был уверен в своем литературном и интеллектуальном лидерстве.

Это – восхитительный документ. Он должен войти в учебные пособия для тех, кто занимается теорией и практикой копирайта. В самом деле, истинное значение этой

* Письмо актива журнала «Континент» во главе с В. Максимовым и В. Буковским, смысл которого был: «не верим мы в ваши перестройки».

сферы знаний и профессии мы можем понять, лишь имея перед глазами документ, который свидетельствует, что возможна постановка вопроса об «авторском праве на политическое настроение и политический лозунг». Кто первый сказал «Э»? Кто первый сказал «гласность»? Кто первый начал «бороться за гласность»? Кому за это полагается орден «Знак почета»?

*

Напомню, что мы пытаемся объяснить себе тенденцию индивида (неких индивидов) к присвоению фольклора. Я предложил понятие «провинциализм» для объяснения этого интересного, вполне исторически особенного и экономически осмысленного явления. Я предпочел это поверхностное и не очень «сильное» объяснение, поскольку не хочу сейчас отвлекаться на гораздо более сложное объяснение, для которого пришлось бы заняться социальными и психологическими сторонами самоидентификации в таком обществе, где (как всегда) усваивается и разносится «банальное», а престижем пользуется «оригинальное»; господствует «коллективное», а прославляется «индивидуальное». Это сложный сюжет, и я не смогу разобраться с ним кратко.

Достаточно сложна и другая интерпретация с использованием понятия «нарциссизм», но она с меньшими потерями может быть переведена в упрощенную версию, и без нее не обойтись.

*

Нарциссизм, по-видимому, тоже связан с провинциализмом, но также и с культом индивидуализма.

Универсальный провинциализм ведет к нарциссизму, поскольку изолированный субъект ничего не знает о других и вынужденным образом сосредоточен на себе. Дойдя до стадии нарциссизма, он, разумеется, консервирует себя в своей личной провинции. Нарциссизм в конечном счете усугубляет провинциализм, но можно думать, что на путь нарциссизма человека толкают все же не зависящие от него

самого условия (если такие существуют): атомизация человека в обществе и искусственный барьер, которым его общество ограждено от других культур. Лишенная кругозора и простора личность загоняется в себя и попадает в заколдованный круг.

Это уже создает среду, благоприятную для культа индивидуализма. А еще больше подогревает этот культ правовая ущербленность индивида. Страстное желание свободы в неправовом обществе толкает энергию самоосуществления в сторону: человек неистово стремится вырваться на открытую сцену со своим персональным концертным номером; показать себя, заявить о себе в надежде, что его внимание и любовь к самому себе будут разделены другим – ко взаимному удовольствию всех участников акта.

*

Для прозы и публицистики русского зарубежья характерна удивительная сосредоточенность авторов на своем личном опыте. Они верят в чрезвычайную значительность своего опыта и пытаются внушить это другим. Забавно и парадоксально, что этот опыт чаще всего может и в самом деле претендовать на значительность в силу своей стереотипности. Но никто не хочет считать свой опыт стереотипным; все хотят быть уникальными, претендуя на роль виртуозов жизни в особых советских условиях.

Я часто вспоминаю разговор с одним видным литератором накануне его вынужденного отъезда из Союза в середине 70-х годов. Ему пришлось уезжать после того, как в институте, где он работал, коллеги затравили его, воспользовавшись его неконформными поступками и высказываниями.

С горечью и страстью, а также с чувством глубокого самоуважения вспоминал он о «непорядочном» поведении своих коллег. Я заметил для поддержания разговора, что вся эта коллизия – неплохой сюжет для романа. На что он возразил: никакого романа не нужно; достаточно просто рассказать факты, *назвав всех участников по именам.*

Когда я приехал на Запад, я обнаружил в печати великое множество такой автобиографической документалистики

или прозы, автобиографический характер которой лежал на поверхности. Как видно, для авторов самым важным было – показать, что все это произошло с ними.

Характернейшей особенностью всей этой литературной продукции была комбинация нарциссизма с морализмом. В центре повествования всегда положительный герой – сам автор (мемуары) или слегка прикрытый автор (беллетристика). Это – соvestливый и пытливый персонаж, что-то среднее между Гамлетом, Дон Кихотом и Павкой Корчагиным. А вокруг него – черные фигуры злодеев-притеснителей и соглашателей. Автор-персонаж изображался либо как жертва в чистом виде, либо с самого начала был задавлен превосходящими силами противника, либо как активный борец, в конце концов выходящий сухим из воды, если и не победивший черные силы репрессивного аппарата и его беспринципных пособников.

У этой литературы есть несколько усложненная модификация. Главный герой может начинать как коллаборант, но затем он преобразуется в борца. В этом случае повествование приобретает психологически-мелодраматический аспект.

В чисто литературном плане это ведет к мучительной фальши, которая иногда производит просто комичное впечатление, как, например, в громоздких топорно-дидактических романах Максимова. Поразительно, что молва упрекала в нарциссизме Лимонова! Вот уж поистине «Вор кричит держи вора». Лимонов – либертарий контр-культурного оттенка. Он сделал нарциссизм литературной позой, и, хотя в чисто человеческом плане он, вероятно, вполне нарциссист (он и сам признается), с литературой у него все в порядке по одной простой причине: нарциссизм Лимонова – отрефлексируемый нарциссизм. Так всегда: использование фольклора приводит к литературным достоинствам, если фольклор осознан автором как фольклор.

*

Сложим фольклорщину и нарциссизм вместе. Прибавим к этому мощный морализаторский синдром, унаследованный социалистическим реализмом от русской классики

и усиленный подпольным салоном, и мы получим формулу типичного литературного продукта на русской зарубежной сцене.

На этой сцене преобладают не произведения, а имена. Литературный текст оказывается не более, чем личным перформансом*, демонстрацией личности, личного опыта и личных качеств. Показывающая себя личность апеллирует к уважению и даже поклонению со стороны других – и этим дело, в сущности, ограничивается.

Нарциссистское паразитирование на фольклоре ведет к появлению литературы, которая соединяет в себе унифицированность содержательной и языковой фактуры (как скажем, в средние века) с романтической концепцией автора как оригинального творца. Такое вербальное поведение сильно сказывается на жизни общества и общественной структуре, но не будем пока заниматься этой стороной дела.

В чисто литературном плане такая комбинация имеет два интересных последствия. Во-первых, искусственную и надуманную индивидуализацию литературы. Ведь если «банальное» подается к столу как «оригинальное», то ведь эти претензии должны быть как-то подкреплены – хотя бы иллюзорно. (Арсенал такой внешней индивидуализации на самом деле небогат, и все действуют примерно одинаково, отчего клишированность такого рода литературы на самом деле возрастает, но с «конгениальным» читателем такой трюк обычно проходит.)

То ли другой тип, то ли версию индивидуализации представляет собой назойливая демонстрация «интеллигентности». Мне приходилось писать об этом лет десять назад. Забавно то, что я иллюстрировал тогда свои соображения примерами из советских толстых журналов начала 80-х годов. С удовольствием теперь могу отметить, что в эмигрантской литературе можно было тогда найти намного более красноречивые иллюстрации (особенно если заглянуть в тексты «чемпионов» вроде Бродского или Аксенова). Но тогда я еще думал, что страницы эмигрантской прессы

* Тут, конечно, надо заметить, что это ни в коем случае не сознательный «перформанс» как род артистической активности, что бы мы ни думали о достоинствах самого этого изобретения.

могут мне понадобиться для мелких приработков, и мудро не стал дразнить гусей.

Впоследствии очень быстро оказалось, что никакой нужды в сотрудничестве с такими изданиями, как «Континент», «Новое русское слово», «Русская мысль» или «Время и мы» для меня нет, и я пожалел о своей излишней светливой деловитости, которая помешала мне указать на тех, кого я действительно имел в виду. Хороший урок подросткам!

*

Если человек занят исключительно тем, что рисует автопортрет, или выстраивает сам себе монумент, то такая литературная работа вполне может быть названа «исполнительством». «Исполнительство» в литературе становится все более популярным занятием. Я говорю здесь не об эпигонах и имитаторах. Чтобы лучше пояснить свою мысль, я напому о музыкальной практике.

В музыке фигуры композитора и исполнителя существуют уже давно. Вначале композитора вообще не было, а был только исполнитель, который играл, так сказать, «ничью», всеобщую музыку. Позднее появилась фигура композитора, то есть создателя конкретного опуса. Он же сам эту музыку исполнял. Затем, по-видимому в прошлом веке, на сцену вышел исполнитель как мы его знаем теперь. Это был человек, отдельный от композитора, и постепенно в глазах публики этот исполнитель-интерпретатор почти заслонил фигуру композитора.

Теперь точно то же самое происходит в литературе. У литератора-исполнителя есть две возможности: манипулировать чьим-то оригинальным трудом (в литературе их очень немного, не знаю, как в музыке), и манипулировать фольклором. Так же как музыкант-исполнитель, литератор-исполнитель выкидывает всякие коленца, что придает чисто функциональной деятельности видимость «вдохновенности» и значительности и помогает заслонить собой источник.

В литературе это даже легче сделать, чем в музыкальной практике. Какими бы большими буквами ни писали на

афишах имя Яши Хейфеца и какими бы маленькими ни писали имена Моцарта и Брамса, последних двух все же не удастся полностью вытеснить из поля зрения потребителя. В литературе же такое вполне возможно, особенно когда исполняется фольклор.

По поводу исполнительства в литературе можно добавить еще два замечания. Можно исполнять не какой-то образец, а литературу вообще, поэзию вообще. Литературные критики в таких случаях говорят о «подделке». Они легко разоблачают фальшивомонетчиков мелкого калибра, но не отдают себе отчета, что подобное имеет место и на вершинах литературы (или лучше сказать, на «поддельных» вершинах). Исполнители высокого класса так умело создают свой (биографический и словесный) имидж, что их трудно отличить от творцов. Так случается: ведь энергия и талант такого исполнителя уходит именно на создание имиджа «творца». Такое впечатление, что выделилась целая сфера литературы, где создание имиджа «творца» – главная и единственная задача.

Еще один вариант исполнительства в литературе – это составление текстов, в которых главное – это намеки на другие тексты. Этот вид исполнительства фактически поощряем литературоведением, занятым в основном восторженным поиском таких намеков.

*

Чтобы еще лучше понять фигуру «литератора-исполнителя», можно обратиться к одной особой сфере словесной активности. Я имею в виду практику перевода с других языков. Чтобы обезопасить себя, я с самого начала замечу, что вовсе не подкапываюсь под благородное ремесло перевода. Но в поведении переводчика все более явственно проступают черты, которые вызывают любопытство, удивление и серьезные опасения.

Дело в том, что в чисто техническом плане фигура переводчика особенно схожа с фигурой исполнителя в музыке. Так вот, переводчик, наподобие виолончельных виртуозов, норовит затмить собой фигуру автора, которого он переводит, или во всяком случае выступать на иноязычной

сцене как его реинкарнация, в любом случае как его личное доверенное лицо, конгениальный медиум.

Тенденция эта, которую не так-то легко (хотя и можно) продемонстрировать документально, все же нашла себе по крайней мере однажды совершенно недвусмысленное выражение. Листая все тот же злополучный журнал «Время и мы», я увидел публикацию знаменитого детективного романа Рэймонда Чандлера. Публикация была организована так: сначала шел фотографический портрет, затем предисловие, а затем сам роман. Облик человека на портрете показался мне подозрительным. Приглядевшись, я понял, что это не Рэймонд Чандлер, физиономию которого было бы естественно увидеть в виде заставки к его роману. На самом деле журнал решил украсить публикацию Рэймонда Чандлера портретом переводчика! И это был не единичный случай.

Похожие вещи мне приходилось наблюдать и в журналистской практике. Ну, журнализм, разумеется, вообще на 95 процентов круговой плагиат. Это в порядке вещей, и если бы это было не так, то никакого журнализма вообще и не было бы. Но и тут эмигрантские журналисты обогатили, казалось бы, нормальную практику новым и многозначительным элементом.

В эмигрантской прессе было огромное количество перепечаток из западной прессы. При этом происходило следующее. Скажем, в журнале «Тайм» опубликована статья. В конце статьи мелкими буквами дается имя того или тех, кто ее подготовил. Но когда эта самая статья фактически просто пересказывается в русском издании (скажем, в «Новом русском слове»), то имя русского «автора» помещается сверху статьи аршинными буквами...

*

Вообще говоря, любая публикация соединяет в себе два события.

Во-первых, она оповещает публику о каких-то фактах или идеях. Во-вторых, она оповещает публику о том, что Имярек располагает данными фактами и идеями. Что касается фактов и идей, то они могут иметь не только самосто-

тельную ценность, но еще и быть атрибутами личности. Связывая себя с идеями и фактами, личность характеризует себя так же как и с помощью одежды. А одежда, как известно, делает людей. Так вот, широчайшее распространение получает некий литературный перформанс, главная цель которого – обозначить себя как носителя определенной «информационной одежды».

В обществе всегда циркулирует набор идей и примыкающих к ним культурных знаков (шибболетов). Они действуют как знаки достоинства. На сегодняшнем русском рынке это аристократизм – духовный аристократизм. Одним из главных атрибутов личности, претендующей на духовный аристократизм, стали теперь антисоветизм и антисоциализм. В эту позу демонстративно становятся почти все. К услугам каждого выступальщика уже готова формула: талантливый человек должен писать что-нибудь антисоветское; все антисоветское – продукт таланта, подавленного таланта.

(Эта формула только теперь постепенно начинает ржаветь, поскольку всякий мало-мальски чуткий человек начинает чувствовать, что антисоветизм инфляционируется. В условиях гласности русские издания просто оказались битком набиты антисоветизмом и антисоциализмом. Между прочим, если так и дальше пойдет, то в скором будущем можно ожидать лавинообразного перехода общественного мнения обратно к советизму со всеми вытекающими из этого последствиями).

Демонстрация «таланта» – основное содержание салонной жизни, так как в салоне собираются (или бываю собраны богатыми людьми) люди, чье главное достоинство – предполагаемый талант. Богатых «таланты» развлекают, а друг друга утешают, так как «талант» это достоинство как бы ставящее бедного выше богатого. В советских условиях экзальтированное почитание личного таланта стало особенно сильным, поскольку предполагалось, что советская власть особенно враждебна таланту. Масса людей оказалась, таким образом, втянута в перманентный спектакль таланта и пребывала в заблуждении насчет собственной талантливости.

Но заблуждения насчет собственного таланта – это половина явления, и сравнительно безобидная. Вторая поло-

вина явления, на мой взгляд, важнее и интереснее. Я имею в виду заблуждения по поводу своего социального характера, иными словами ложную социальную самоидентификацию. «Референтная группа», как говорят социологи, некоторого типа людей – некая мифическая интеллигенция, которая «выше» массы; родственная «благородным», а в более специфическом русском смысле – дворянству.

Отождествление самих себя с дворянством, миф о котором висит над сознанием этой группы, принимает иной раз карикатурные формы. Все, кто имеет малейшую возможность сообщить другим о своей приобщенности через родство или просто через знакомство с бывшим дворянским сословием, будьте уверены, не преминут этого сделать. Мне, например, довелось увидеть краткую биографическую справку, которую выдала сама себе одна диссидентская поэтесса. Справка начиналась словами: родилась в Одессе, в семье польских дворян...

*

... Так велико желание принадлежать к чему-то, к чему на самом деле не принадлежишь.

Но если все-таки на самом деле принадлежишь, то почему бы не показать, не продемонстрировать? Не знаю, какой тут действует закон – природы или приличия, но на практике оказывается, что те, кто на самом деле принадлежат, стараются об этом помалкивать. Серьезные интеллектуальные и моральные союзы имеют неодолимую (для обывателя, может быть, несколько смешную) тенденцию к таинственности. Во всяком случае они о себе не шумят, не исполняют активно свою роль на глазах у широкой публики. Они не склонны к рекламному перформансу. Хотя бы масоны, например.

Стремление рядиться в престижные шкуры таит в себе особую опасность для литературы, потому что язык писателя – это и есть его шкура. Шкура, конечно, особого рода, поскольку она же и нутро писателя в тех случаях, когда у него есть нутро. Естественно, что шанс иметь какое-то свое нутро у писателя тем меньше, чем более роковым образом его тянет напялить на себя уже готовые, чьи-то чужие, социально легко идентифицируемые и престижные

одежды. Но подлинное социальное нутро неустранимо, и оно комбинируется с напыленной шкурой.

Это значит, что подлинный язык такого-то «писателя-исполнителя» хаотично комбинируется с тем языком, точнее элементами того языка, который он хочет присвоить.

Такой характерный показушный стиль сложился в 60-х и 70-х годах, когда легальные литераторы отработывали сигнальный язык, позволяющий продемонстрировать специальному заказчику (не властям, нет, другому заказчику!), что они не какие-нибудь Бабаевские, Бубенновы и Кочетовы. Легко догадаться, конечно, что именно новые и новые Бабаевские и Кочетовы больше всего нуждались в такой социальной демонстрации. Этот тип литературного поведения родился не в эмиграции, но здесь он быстро оказался господствующим. Его господство было обеспечено еще и тем, что активные литературные исполнители прибыли за границу не все сразу. Они прибывали волна за волной, и каждая новая волна приносила новых аристократов духа (то есть «крови»), которые привозили с собой «написанное в стол», даже не подозревая, что из других столов уже извлечены совершенно такие же сокровища и опубликованы с торжествами (хотя, может быть, и в узком кругу), которые пристали истинно высокорожденным.

Стилистическая межеумочность литературных исполнителей с ложным социальным сознанием когда-то охотно высмеивали фельетонисты и сатирики. Но пришло время, когда эта стилистическая межеумочность заполнила собой все пространство литературы.

Вырваться из этого пространства нелегко, поскольку речь идет, собственно, уже о литературной норме, в сохранении которой заинтересован (если угодно, материально) не только исполнительский истэблшмент, но и его социальный заказчик, остро нуждающийся в социальной лестии, особенно в условиях убогого материального состояния.

Есть несколько случаев, когда такие попытки как будто бы предпринимаются. Войнович, Алешковский или Довлатов как будто бы пошли по пути «прощения». Их якобы за то и любят.

Но эти опрощенцы пошли только по пути сокращения и опржмления фразы и абзаца, что сделало их тексты более легкими для переваривания занятым и усталым читателем.

Все элементы социальной претенциозности, а в случае Войновича еще и какой-то особенно доморощенной политической амбициозности, у этих авторов остались. Эти три автора производят литературу, которая представляет собой все тот же патетический антисоветизм, украшенный знаками собственного достоинства и морального превосходства, но уже разжеванный до стадии крайней элементарности.

Они безусловные носители самого клишированного и низкопробного фольклора. Они не отдают себе отчета в том, насколько банальны все их «оригинальности».

Впрочем, какие-то потуги стилистического свойства у Войновича, а иногда и у Алешковского можно обнаружить, но эти упражнения только усугубляют катастрофу. Дело в том, что они пытаются использовать один авторитетный прием – прием литературной маски. Они пытаются прикинуться простаками. Но, к сожалению, чтобы прикидываться простаком, надо быть не-простаком. Когда писатель, не сознающий, что он сам простак, надевает маску простака, его стиль становится еще более сырым и фальшивым.

Технические сложности писателя с серьезными стилистическими идеями усугубляются тем, что интеллигентский фольклор (а именно он и только он оприходован сейчас литературой) сам насквозь пролитературен: интеллигентское просторечье весьма претенциозно.

Именно это обстоятельство, с другой стороны, открывает перед литературой большие возможности. Если бы критика и беллетристика относились к интеллигентскому фольклору и его исполнителям несколько свысока и со стороны (вместо того, чтобы рабски воспроизводить тот самый фольклор), то они могли бы впечатляющим образом зафиксировать низкий уровень стилистического самосознания массы активных носителей языка. А ведь за этим слабым стилистическим самосознанием открывается слабое социальное самосознание – наиболее важная характеристика советского общества накануне и в разгар гласности.

Русская литература в эмиграции встала в позу литературы, вышедшей на более высокий уровень рефлексии, но не подкрепила эту позу никакими реальными достижениями. И в этом смысле она полностью провалилась.

Этот очерк носит огульный характер. Я хотел уловить лишь самую общую тенденцию литературного процесса за рубежом, самое характерное или многозначительное в культурном и социальном смысле.

Все же всякая обобщенная картина грешит упрощениями, иногда довольно серьезными. Я на эти упрощения пошел с легким сердцем, поскольку (честно сознаюсь), меня больше интересует литература в целом, нежели отдельные авторы. Я понимаю, однако, что у многих такой подход вызовет раздражение, особенно у тех, кто считает, что литература – это только ее вершины, а все остальное просто неинтересно. Поэтому я добавлю к своим рассуждениям о литературной массе несколько замечаний о «вершинах»:

Согласно существующей табели о рангах, высшая точка русской литературы в эмиграции это, конечно, Солженицын. Это всегда робко признавали даже те, кто его по разным причинам терпеть не может. Правда, считать Солженицына эмигрантским писателем можно лишь на том основании, что он долгие годы жил за границей – больше ни на каком. Кстати, именно тут фигура Солженицына сразу же привлекает наше внимание к проблеме, которую я до сих пор игнорировал: а есть ли вообще такая вещь, как «эмигрантская» литература? Были и есть писатели, которые живут за рубежом, но значит ли это, что существует эмигрантская литература?

Солженицын, конечно, стоит сильно в стороне от тенденций, которые я до сих пор обсуждал. Прежде всего, он – настоящая личность, а не актер на площади. Он доказал это своей биографией, грандиозностью своих замыслов и, между прочим, очень характерными нападками на тех, кого он так неудачно назвал «образованщиной». Его моралистский пафос намного серьезнее, чем патетический морализм тех, кто прибегает к морализаторству как популярной роли. Он не плывет в потоке стандартного ролевого антисоветизма – он сам мощно гонит волну. Его война с советской властью напоминала единоборство Титанов, и он, пожалуй, единственный, кто имеет теперь право считать себя победителем.

Все это придает его огромному литературному труду монументальность, хотя быть может несколько избыточную и даже слегка карикатурную. В любом случае, Солженицын стоит особняком.

Но даже у него можно найти то, о чем я толкую. Уже притчей во языцех стало его вымученное и жеманное словотворчество, причудливая и неудобочитаемая фразеология. Эти элементы его стиля вызывают или веселый смех, или злорадные издевательства. Но спросим себя: откуда это и зачем?

Можно предполагать, что Солженицын таким образом инстинктивно защищается от слияния с массой серой антисоветской жвачки. Его стилистические эскапады носят полемический характер (стиль в руках сознательного писателя вообще вполне полемичен, о чем, к сожалению, редко пишут критики). При этом Солженицын ведет полемику даже на два фронта: с виртуозами сценического исполнительского антисоветизма и со старым добрым соцреализмом, от которого его романы были бы неотличимы, если бы не весь этот стилистический налет, подлежащий просто-напросто безжалостной редакторской чистке.

Как видим, настоящей личности нелегко (про Солженицына можно сказать словами Генриха Гейне: *Kein Talent, doch ein Charakter*), когда стандартные исполнители муссируют свою воображаемую нестандартность. Отличиться от них трудно: тут мало силы характера; нужно еще и специфическое дарование (или хорошая тренировка), делающее человека чувствительным к смысловым ресурсам разных литературных техник. Солженицын же не нашел адекватной техники: придуманные им языковые трюки скорее сближают его с теми, от кого он так настойчиво хочет отмежеваться. В бочку величия попадает, таким образом, ложка суетности с последствиями для будущей репутации, которые пока трудно предсказать.

Второй автор, конкурирующий по частоте упоминаний, это Бродский. Про него, поменяв местами те же слова Генриха Гейне, можно сказать: *Ein Talent- doch kein Charakter*. В отличие от Солженицына он полностью принадлежит литературе, о которой мы говорим. Он ее чемпион. Стать чемпионом он смог благодаря незаурядному таланту версификатора и, по-видимому, страстной любви к

версификаторству. Он – виртуоз исполнительства. Он сочиняет буриме, куда ухитряется втиснуть намеки на все темы стандартных интеллигентских разговоров. Его тексты – своего рода кодификация престижного словаря салонной интеллигенции Ленинграда (60-х годов). Слабость его творчества – это слабость культуры, которой он принадлежит. Интеллектуально он чрезвычайно пассивен, заимствует тему у публики, воспринимая ее на слух, и возвращает ее публике в разукрашенном, но несколько не обогащенном и не развитом виде.

На коротких промежутках (две-четыре строки) Бродский может выглядеть (не совсем без оснований) оригинальным и глубокомысленным, но в сущности он топчется на месте, в лучшем случае предлагая нам длинные коллекции метафорических миниатюр, а то и просто захлебываясь в чисто механических вариациях. Один английский критик сказал по поводу поэзии Бродского «беспорядочная груда метафор». Лимонов тоже очень точно определил технику Бродского: «сказал – сравнил, сказал – сравнил». И ничего больше.

У Бродского характерная интонация: мучительная серьезность все время оттеняется необязательной иронией – на всякий случай, чтобы не обвинили в ходульности. Высокопарность – идет от сердца; ирония – навязана нормой языкового поведения той среды, которая с помощью рутинного и механического иронизирования пытается поднять себя над действительностью и окружающими людьми.

В общем, Бродский в основном интонационное явление, как и Высоцкий. Но в отличие от популиста Высоцкого интонация Бродского (собственно, интонация его культурной общины) социально скорее неприятна и стерильна.

Не случайна его привязанность к слову «элегия» и частые намеки на Боратынского. Бродский помещает себя вне и выше интеллигентской толпы, и это почти смешно, потому что выбранная им позиция фактически ничем не подтверждается. В таких случаях мы обычно и говорим о «поэстерстве».

А. Кушнер как-то назвал Бродского «нашим байроническим поэтом» и попал в самую точку. Но спросим себя: а что же это такое – байронический поэт в наше время? Ответ, мне кажется, неизбежен: «Печорин» на клубной

танцплощадке среди десятиклассниц, то есть Грушницкий... Печорин, не говори красиво...

Еще один писатель, который уже приобрел почти репутацию классика, это Зиновьев. На счету Зиновьева одна удача – «Зияющие высоты». Как общественный поступок начала 70-х годов эта книга сопоставима с «Одним днем Ивана Денисовича». У нее есть и определенное литературное достоинство, хотя в этом отношении она не дотягивает сотни километров до того же «Ивана Денисовича».

Все остальные трактаты, романы и полуроманы Зиновьева как литература – полный мусор, причем до такой степени, что бросают тень и на его опус магнум, заставляя нас если не пересмотреть, то во всяком случае сильно скорректировать наше отношение к «Зияющим высотам». Все же сперва воздадим должное «юношескому» произведению Зиновьева-романиста, потому что, уяснив себе сначала, в чем его сильные стороны, мы сможем лучше понять, почему его литературная инициатива в дальнейшем оказалась столь бесплодной.

Согласно легенде (вполне правдоподобной) Зиновьев писал «Зияющие высоты» в страшной спешке. Каждые написанные десять страниц уносились и прятались в безопасном месте, и больше он их не видел, а, стало быть, не редактировал. Другая легенда гласит, что Зиновьев более или менее беспорядочно переносил в книгу заметки из своих записных книжек. И это очень похоже на правду, потому что книга очень фольклорна, причем фольклор совершенно не отрефлексирован и не обработан.

Тем не менее это все-таки настоящая литература. Беспорядочность и непомерные размеры «Зияющих высот» доведены до такого абсурда, что неожиданно происходит чудо: книга приобретает жанровую самобытность; начинает казаться, что хитроумный и технически умудренный автор изобрел прием, адекватный тому, что вертелось у него на уме.

Если бы Зиновьев не стал писать дальше по книге в год, то, возможно, высокая репутация закрепилась бы за «Зияющими высотами» навсегда, а ее очевидные недостатки были бы истолкованы как достоинства – слишком уж они были очевидны. Но Зиновьев писал и писал.

Можно предположить, что он остался не совсем доволен

«Зияющими высотами», поскольку обстоятельства, как он думал, не позволили ему по-настоящему поработать. И, оказавшись на Западе, он решил, что вот теперь-то он напишет роман «как полагается». Но его представления о том, «как полагается» писать романы, оказались на уровне школьного литкружка, где учили соцреализму. Зиновьев, судя по всему, и не знал, что существуют разные литературные техники, и что из них следует выбирать.

Арнольд Хаузер, мне кажется, толково и просто разъяснил однажды, как получается плохая литература. В художественном произведении, писал Хаузер, всегда комбинируются элементы, которые изготавливаются бессознательно, и элементы, которые делаются в высшей степени сознательно. Так вот, продолжает Хаузер, плохой автор полагается на интуицию там, где надо быть очень расчетливым, и рассчитывает там, где надо отдаться на волю чутья. Именно это и происходит с Зиновьевым.

Создав непридуманную смесь социологии и беллетристики, Зиновьев не преуспел в беллетристике и профанировал социологию.

*

Так обстоит дело на вершинах русской литературы, долгое время существовавшей за рубежом и прославившей за это эмигрантской. Что она представляет собой в общем и в среднем, я уже говорил. Как же так, спросит удивленный читатель: так-таки ничего? Сотрясение воздуха, марание бумаги? Эксгибиционизм и графоманство? И ничего больше?

Разумеется, нет. Люди все же не только бились в политической истерике, снимали пенку и торговали собой, не только занимались престижным выступательством и сведением личных счетов. Люди работали и кое-что наработали. Но никто на них не обратил внимания. Я назову некоторых по своему выбору и объясню, почему я думаю, что они кое-что для нас сделали.

Марк Киршин написал роман «Брайтон Бич» о жизни русско-еврейской общины в Нью-Йорке. До этого он написал и опубликовал другую прозу, написанную в сущности

так, как полагается писать среднему эмигрантскому автору, как я его изобразил. Резкая перемена стиля в «Брайтон Бич» сама по себе свидетельствует о незаурядной технической сознательности и тематической гибкости Гиршина. Начав как все, он, так сказать, «исправился». Книга Гиршина, я боюсь, единственная на русском языке за рубежом, читая которую не чувствуешь фальши и не испытываешь неловкости. И это, я думаю, просто потому, что автор, когда писал свою книгу, думал не столько о себе, сколько о тех, кого видит вокруг.

Это особенно бросается в глаза, если сопоставить «Брайтон Бич» с «Иностранкой» Довлатова – чрезвычайно неуклюжей и фальшивой, где все элементы откуда-то заимствованы. «Иностранка» Довлатова – бледная тень «Брайтон Бич» (не имеет значения, которая из двух была написана раньше). При этом забавно, что в одном газетном эпизоде Довлатов защищал Гиршина от нападок русских нью-йоркцев, которые сочли, что Гиршин их оклеветал. Обиженные, естественно, называли Гиршина графоманом и попали, конечно, пальцем в небо. Вина Гиршина на самом деле была в том, что он им не польстил. Довлатов же льстит всем – отсюда его популярность.

Теперь я хочу вспомнить Николая Бокова. Боков начал в эмиграции очень давно, пытаюсь собрать вокруг своего журнала «Ковчег» свежие силы, не желавшие участвовать в хоровом перформансе таких литкружковских эстрадных площадок, как «Континент», например. Журнал долго не просуществовал. Сам Боков сперва опубликовал «Приключения Вани Чмотанова» – травестию советской ленинианы. Замысел не Бог весть какой оригинальный, но на фоне уныло-однообразной антиленинианы книжка Бокова выглядела достаточно зрелой. Боков все-таки поиграл с фольклором. Вероятно, поэтому на нее предпочли не обратить внимания.

Потом Боков опубликовал книгу «Бестселлер». В ней он осуществил одну в высшей степени знаменательную новацию. В повести «Город солнца» он прибег к жанру научной фантастики. Это помогло ему разработать тему личности, задавленной серой массой, не на автобиографическом материале. Одновременно это усилило нарративный элемент прозы. Русские писатели давно разучились писать narra-

тивную прозу: этот навык задавила резонерски-исповедальная и сомнамбулически-шаманская (танцевальная) интонация. Боков сумел достигнуть эпической обобщенности, не впадая при этом в нарциссизм и фальшь, столь характерные для стандартной литературы 80-х годов в эмиграции.

Боков начал делать и кое-что другое. В некоторых его вещах хорошо видно, что он понимал трудности, с которыми мы теперь сталкиваемся при работе с таким классическим элементом повествовательного жанра, как прямая речь персонажей. Чрезвычайная олитературенность бытовой интеллигентской речи и обилие интеллектуальных разговоров действительно создают проблемы для авторов. Кто не замечает проблематичности передачи разговора в прозе, тот обречен. К сожалению, тут Боков не успел сделать много. Истэблишмент его задавил. Он оказался не боец и перестал писать, во всяком случае публиковаться.

Я не думаю, что Боков так уж сильно отличался от среднего писателя-интеллигента 70-х – 80-х годов по своему психическому складу. Он, так же как и все мы, был сильно персонцентричен: весь образ жизни в России толковал в концентрации на самом себе и своей участи. Но Боков оказался чуть ли не единственным, кто почувствовал эту персонцентричность как тему, что и превращает его из носителя чистой сырой фактуры в человека, как-то к этой фактуре относящегося, то есть в настоящего писателя, как я это понимаю.

Еще один писатель, извлекий из своего эгоцентризма серьезный литературный эффект, это Игорь Померанцев. Он обязан своей удачей прежде всего тому, что не стал заниматься морально-политическими причитаниями. Он ни на кого не набрасывается, никому не мстит и не изображает себя жертвой. Зато он подтверждает свою языковую индивидуальность – она литературный факт. Проза Померанцева довольно эффективно «подключает» читателя к действительно богатому, хотя и очень центрированному эмоциональному опыту. Это, пожалуй, лирическая проза, некоторая элегичность которой – не социальная поза самоутверждения (как у Бродского), а простое свойство авторского темперамента.

Леонид Гиришович долго трудился над большим романом «Прайс». Только сейчас он начинает его понемногу публи-

ковать. Пока трудно сказать, хорошая ли это книга. Он был слишком молод, когда начинал ее писать, и вероятнее всего там есть сильные реликты того, о чем я говорил. Но более поздние работы Гиршовича позволяют предположить, что уже в «Прайсе» есть серьезные попытки борьбы с материалом и с самим собой. Последняя его вещь «Обменные головы» весьма удачно комбинирует элементы личного опыта с очевидной выдумкой, в результате чего центральный персонаж эффективно отделяется от автора. Для русской литературы нынче это просто подвиг, поскольку требует и психологической зрелости, и интереса к чисто техническим проблемам повествовательной прозы.

Но еще интереснее беллетристическое эссе Гиршовича «Чародеи со скрипками». Это – об исполнительстве. Гиршович сам опытный и образованный музыкант. Его наблюдения точны и содержательны, интерпретации не поверхностны и красноречиво изложены. Гиршович разрабатывает свежую тему большого общественного значения. Напомню, что «исполнительство», вероятнее всего, становится самой распространенной ролью в обществе, а возможно, и платной профессией.

Я назову еще Михаила Федотова. Его роман «Соотечественники» – очень интересный образец литературы. Автор пошел на риск, неслыханный в русской любительской литературе за рубежом. Он ведет повествование от нескольких персонажей. Прием этот достаточно известный, но дело тут не в технической новизне. Это еще один пример попытки вылезти из собственной кожи, свидетельство сомнений в достаточности собственного опыта и взгляда на вещи. И хотя все персонажи Федотова более или менее однотипны в социо-культурном смысле (говоря проще, все более или менее «на одно лицо»), симптоматичная попытка сделана.

Любопытно, что роман Федотова развивает традицию Ремарка в русской литературе. Те, кто выросл в Москве и Ленинграде в начале 60-х годов, должны помнить, как много значила пара романов Ремарка для тогдашней литературной и эмоциональной жизни горожан. След Ремарка в русской беллетристике широк и хорошо наезжен. В этой колее начинал и Аксенов своим романом «Коллеги», который по иронии судьбы останется, вероятно, лучшим в его

романном творчестве. К сожалению, эта традиция быстро исфальшивилась. Федотову, однако, удалось написать роман, который, вероятно, впредь будет считаться самым лучшим в этой традиции; по простой причине – в нем нет позерства.

*

Все это можно было написать уже году в 85-м. К счастью, тогда я этого не сделал. К счастью потому, что в то время дело ограничилось бы чисто литературно-критическим пафосом. Теперь же повзрослев (или постарев) на десять лет, кое-чего еще подначитавшись и пережив «гласность», мы можем поговорить о более интересных вещах.

... Почём-то я часто вспоминаю, что учитель химии в уральской школе, где я учился в начале 50-х годов, говорил нам недорослям после того, как мы закончили раздел о химических элементах. Это все были сказки, говорил он, настоящая химия, говорил он, только теперь начинается...

Так вот, это все были сказки. По-настоящему серьезная тема для разговора начинается только сейчас.

*

По ходу этого очерка мы уже пару раз спотыкались о понятие «эмигрантская литература». Оно на самом деле вводит в заблуждение. Дело в том, что основная масса литературы в эмиграции отличается от литературы в метрополии только местом публикации. На западных литературных площадках разыгрывалась литература, какой она была бы, если бы в России не было цензуры. Оказавшиеся в эмиграции авторы работали так, как если бы они литературно обслуживали большие читательские массы в самой России, то есть лепили, пользуясь техническими и юридическими удобствами Запада, некую альтернативную версию «национальной» литературы.

В эмиграции были сняты тематические табу, но нового типа литературы не возникло, потому что на Запад уехал уже сложившийся к тому времени в самой России тип литератора.

С началом гласности сразу же стало ясно, что этот тип литератора в России резко преобладает – и по количеству, и по громкости.

И темы, и стиль литературы эпохи гласности оказались те же. Это был все тот же патетический антисоветизм и бесконечные рассказы о душевных страданиях сопротивленцев режиму. Это было все то же «примазывание» к новым святым и разоблачение старых святых. Достаточно посмотреть любой номер любого толстого журнала, где перемешаны перепечатки из эмиграции и сочинения местных авторов, чтобы убедиться, насколько иллюзорна разница между эмигрантской и местной литературной продукцией.

Эмигрантская литературная продукция нисколько не интереснее и не лучше. Легенда об эмигрантской литературе как о «сливках» русской литературы абсолютно ни на чем не основана.

Тем не менее, эмигрантская литература пережила в России фазу успеха. У эмигрантов в России появились свои толкачи, заинтересованные в их продвижении на русском литературном рынке. Корпус толкачей складывался, по-видимому, из трех элементов. Во-первых, это были «старые приятели». Почти все эмигранты были представителями за рубежом каких-то литературных кружков и салонов. Эти кружки и салоны идентифицировали себя с тем или иным эмигрантом и теперь торопились укрепить свой социальный престиж, выводя за руку на большую сцену своих «корешей» и таким образом как бы приобщаясь к легенде, которую сами же создавали во времена «тамиздата».

Во-вторых, появились и добровольные агенты со стороны. Это были люди, долго мечтавшие о знакомстве со знаменитостями и получившие, наконец, эту возможность, когда открылась граница. Те, кто в силу остатков старых привилегий (или полупривилегий) быстрее других получили возможность войти в контакт с парижскими и нью-йоркскими литературными кружками, немедленно помчались наносить визиты тем, кто по законам московских и ленинградских салонов был для них в свое время недоступен. Эмигрантские авторы, приобретшие за годы жизни за границей статус иностранцев, стали удобным материалом для

традиционной культурной фарцовки, которая уже давно была важнейшим элементом столичной жизни.

Третьим глубоко заинтересованным лицом оказались «толстые журналы». В отличие от индивидуальных агентов, движимых прежде всего престижно-социальными мотивами, редакции толстых журналов имели интерес коммерческий. Попав в трудную финансовую ситуацию, они были вынуждены искать подходящий товар для поддержания привычных тиражей. Литература с уже готовой легендарной репутацией казалась спасением, и действительно она помогла столпам старого авторитарного литературного истеблишмента держаться некоторое время на плаву. Ведь советский читатель с началом гласности оказался в том же положении, что и свежий читатель-эмигрант (вроде меня в 1981 году): он вдруг получил возможность увидеть на бумаге то, что раньше существовало для него в виде сотрясения воздуха. Гарантированный товар и гарантированный читатель – об этом любое издательство может только мечтать, и толстые журналы были бы последними идиотами, если бы не воспользовались таким благоприятным стечением обстоятельств. О, если бы они смотрели далеко вперед... Но кто ж смотрит...

*

Обстоятельства для всех трех агентов этой крупномасштабной культурной фарцовки оказались на деле столь благоприятны, что привели на какое-то время к настоящему засилью эмигрантской продукции в российском издательском деле. Это вызвало уныние и раздражение среди местных литературных кадров. Многие почувствовали себя дискриминированными. Недовольные были двух сортов.

Во-первых, это была молодежь с новыми тематическими и стилистическими поползновениями, уже достаточно чуждыми пафосу антикоммунистического салонного подполья 60-х годов. «Шестидесятники» были им либо неинтересны, либо даже раздражали их. А благодаря эмиграции интеллектуальный стиль шестидесятых годов законсервировался и в эпоху гласности зажил второй жизнью. Он действительно занял «чужое место», блокировав новые интеллектуальные и литературные тенденции. Насколько

эти тенденции были бы продуктивны, сказать трудно, но это в данном случае неважно. Важно (в плане нашего анализа), что тут имел место конфликт старого товара с новым, а это вечный конфликт.

Но этот конфликт, как мне кажется, не был энергичски очень мощным. Похоже, что «новый» интеллектуальный стиль вовсе не был внушительно представлен на русской литературной сцене, да и новизна его была весьма относительной.

Совсем другое дело – недовольство тех, кто ничем не отличался от эмигрантов, кроме адреса прописки. При первом же массивном знакомстве с эмигрантской литературной продукцией они могли легко убедиться, что сами могут то же самое, несколько не хуже и даже лучше. В конце концов (повторим еще раз), эмигранты были всего лишь небольшой частью той культуры, которая продолжала существовать в Москве. Оставшиеся с полным основанием могли считать себя носителями (владельцами) того интеллектуально-философского фольклора, который был вынесен на страницы печатных изданий за границей в 70-е и 80-е годы.

Надо сказать, что выход на поверхность в России всей этой культуры поставил эмигрантов в затруднительное положение. Ведь окончательно исчезла иллюзия, будто они пророки и новаторы. Музыка, которую они исполняли, как оказалось, звучала в головах у несметного количества людей. Эмигрантский камерный хор буквально в одночасье превратился в некий сверх-хор необъятных размеров и непереносимой громкости.

В случае конфликта между носителями (исполнителями) стандартной подпольной культуры и носителями ее обновленного варианта речь шла о своего рода «классовой борьбе». В случае же конфликта между исполнителями канонической культуры в эмиграции и на родине имела место конкуренция. И этот конфликт – пока самый главный и интересный, поскольку в него вовлечены большие массы участников, выходящих на рынок с однотипным товаром.

Впрочем, фактура этого конфликта меняется. «Эмигранты» как особая группа производителей литературы после 1990 года фактически уже не существует. Эмигранты благополучно растворились в той среде, из которой в свое

время вышли. Но конкуренция в среде носителей стандартной культуры не прекратилась. Коммерциализация фольклора превращает отношения между носителями (исполнителями) этого фольклора в такие же точно отношения, как и отношения между производителями галстуков, велосипедов и футбольных мячей, равно как и между исполнителями песни «Подмосковные вечера».

*

Краткий обзор операции по обратной перекачке подпольного антисоветского фольклора из-за границы в Россию напоминает нам о двух обстоятельствах, которые следует особенно подчеркнуть, если мы хотим перейти к пониманию нынешней русской литературно-интеллектуальной ситуации в более широком плане.

Во-первых, интеллектуальный и эмоциональный колорит русской домашней литературы второй половины 80-х годов совершенно тот же, что и эмиграции 70-х годов. Все, что я говорил о русской литературе за рубежом, в полной мере относится к нынешней домашней литературе. Во-вторых, временное разделение русской литературы на два географических отделения позволяет лучше понять существо «отношений по поводу литературного производства» в рамках унифицированных спроса и предложения.

Итак, мы решили перенести свой интерес с конкретной литературной реальности, то есть русской литературы за рубежом, на проблемы конкуренции в литературной промышленности. С этой точки зрения литературу пока что рассматривают редко. Экономика литературы, кажется, занята исключительно судьбой книжного тиража, и ею занимаются бухгалтера издательств. Литераторы, литературоведы, критики видят в работе писателя общественную, эзотерически мотивированную, так называемую «творческую» деятельность. В центре их внимания такие вещи, как «талант», совершенство продукта, структура продукта и его место в интеллектуальном контексте.

Это все удобные темы для разговоров о литературе, и никак нельзя сказать, что эти разговоры совсем уж пусты и бессмысленны.

Но сегодня литература становится прежде всего интересна как одно из главных производств постиндустриального общества. Если мы при взгляде на вербальный продукт воспользуемся социально-экономической оптикой, то нас заинтересуют совсем другие вещи: потребности читателя, способы их удовлетворения; разновидности вербального поведения, вербальных ресурсов, вербального продукта; вкусовые классы... А писатель интересует нас прежде всего как предприниматель.

Русская литература в эмиграции, чья слепая зависимость от ранее накопившегося фольклора столь очевидна, дает нам хороший эмпирический материал для того, чтобы судить о литературе как о типичном профессиональном занятии и типичной форме предпринимательства в постиндустриальном обществе.

*

Что же такое все-таки писатель как предприниматель? Боюсь, меня уже неправильно понимают. Я вовсе не имею в виду писателя, который хочет побольше денег, аккуратно ведет счета, много думает и говорит о деньгах и вообще демонстрирует в своем поведении характерологические черты, которые в снобистско-интеллигентской среде обозначают словом «деляга». Я пишу не сатиру, а пытаюсь уловить существо дела.

Разумеется, я понимаю слово писатель широко, примерно как в Америке понимают слово «райтер», или в Германии «текстер». По-русски это удобно назвать «текстовик». Это – всякий, кто составляет некие словесные комбинации: от описаний моющего средства и воспоминаний об Ахматовой до псевдо-исторических эпосов, поэтических мемуаров и эссе на вольную тему. В такой трактовке, разумеется, пресловутая разница между «поэзией» и «журналистикой» становится незаметной.

Все это – функциональная литература. В музыкальной промышленности понятие «функциональной музыки» установилось уже давно, хотя оно применяется ограниченно и сфера его применения может быть расширена. В какую

именно сторону, мы посмотрим, вернувшись к интересующей нас литературе.

Происходит поразительная и волнующая вещь: при ближайшем рассмотрении вся литература (как и музыка) оказывается функциональной. В том смысле, что литература – это обслуживание. Ведь писатель стремится удовлетворить некоторые потребности. И, стало быть, он такой же предприниматель, как и мясник, молочник, зеленщик.

Полезно помнить, что литератор может обслуживать не только читателя. Он может удовлетворять, скажем, потребности государства и церкви, которые убеждены, что их долг «надлежащим образом воспитывать население», и соответственно контрактируют (иногда принудительно) литературу для этой работы.

«Социальный заказ» может исходить также от любой другой общественной силы, как правило вооруженной институтами и активно обрабатывающей потенциальную паству: крупные производители товаров (промышленные фирмы) или идей (политические партии).

Принципиально важно и то, что литературный корпус сам превращается в такую «группу вкусов и интересов» и предъявляет писателю собственный социальный заказ.

*

Теперь посмотрим, какого же рода потребности удовлетворяет текстовик. Легче и соблазнительнее всего было бы сказать, что литература удовлетворяет «эстетические потребности», тем более что активный читатель, артикулируя свое отношение к тексту, чаще всего назойливо дает понять, что задета именно его эстетическая струна («Прекрасно», «Красиво», «Как это написано...» – вот самые частые клише такой критической дискурсии). Но я рискну утверждать, что это совершенно не так. Выражая свое отношение к тексту на эстетическом жаргоне, потребитель лишь старается набить цену самому себе, коль скоро в данном обществе эстетическая чувствительность считается признаком аристократизма.

На самом же деле удовлетворение, которое получает читатель – это социальное удовлетворение.

Я говорю о таких потребностях, как потребность компенсировать ущербность своего социального положения, почувствовать свое превосходство над другими, ощутить свою принадлежность к какому-то целому и даже не просто к «какому-то», а к «достойному» целому (престижная самоидентификация). Литература, конечно, также поле расчетов с врагами.

В ином плане можно говорить о потребности в полезной информации. Здесь имеет смысл выделить социально значимую информацию, которую индивид может использовать в своей политике повседневной «самопрезентации»: чтение литературы может снабжать его образцами для подражания («любимый», «положительный» герой), престижным вербальным материалом, престижными фактоидами.

В иных терминах можно говорить о потребности человека иметь помимо реальной жизни также и жизнь воображаемую. Эта потребность, кстати, в подавляющем большинстве случаев не обеспечивается творческой энергией самого индивида и нуждается в пособиях. Обществу нужны люди, сочиняющие сказки.

Вот этим обслуживанием и занимается литератор как функциональная фигура и предприниматель.

*

Вообще говоря, такой поход к литературе был возможен всегда, но раньше содержательность такого подхода была меньшей: он мало что давал для понимания текущей общественной жизни в целом. Совсем иначе, я думаю, дело обстоит теперь. Потому что в обозримой перспективе производство культуры (включая литературу) как сферы занятости станет главной, вытеснив производство физических услуг, то есть третичную сферу, как третичная сфера вытеснила обрабатывающую промышленность (вторичную сферу), а та еще раньше – сельское хозяйство (первичную сферу). Соответственно и вся проблематика «производительных сил и производственных отношений» смещается, во-первых, в сторону сферы культуры, а, во-вторых, в сторону сферы потребления.

Если мы теперь вспомним то, что я писал о физиономии русской литературы за рубежом и примем во внимание только что сказанное, то получим возможность перейти от критики к некоторому пониманию.

В самом деле, превращение литературы в массовую профессию и предпринимательскую деятельность должно неизбежно сопровождаться изобретением такого рода текстов, которые могут производиться большим количеством людей и, конечно же, обладать при этом недвусмысленной потребительской ценностью.

Вне всякого сомнения, на Западе это и происходит. Функциональная исполнительская литература полностью преобладает. Процветает индустрия по производству фантастических саг, детективов, биографий, литературы путешествий, исторических компиляций, словарей-справочников, сборников цитат и т.д.

Рецензионная активность развивается в сторону реферативно-апологетической рецензии и имеет только одну цель – помочь издательству сбыть тираж.

То, что произошло с русской литературой в эмиграции, а затем во второй половине 80-х годов и дома, не было чем-то исключительным и было вполне осмысленно: складывалась технология массового писательства, которая должна была бы обеспечить занятость в условиях кризиса традиционной промышленности и перехода к пост-индустриальной эпохе. Роль писателя модифицировалась как «роль». Вопрос только в том, какие именно реплики подает исполняющий эту роль.

*

Никто не удивился бы, если бы мы употребляли понятие «постиндустриальная эпоха» применительно к Западу. Но мы говорим о советском обществе. Советское общество вступает в постиндустриальную эпоху??? Вы с меня смеетесь... О нет, господа, мы вовсе с вас не смеемся. Вот что можно сказать на эту важную-важную тему.

... В газетной литературе трансформация советского общества в конце 80-х годов обычно именуется переходом от «тоталитаризма» к ... не совсем ясно чему (тут исполь-

зуются разные термины, которые призваны обозначить, так сказать, уменьшение количества деспотизма, и я не буду на эту тему теперь распространяться). Эта формула имеет чисто эмоционально-политический характер и совершенно бессодержательна.

Согласно другой, тоже имеющей широкое хождение формуле, происходит переход от «социализма» к «капитализму». В этой формуле несколько больше содержания, особенно если иметь в виду, что социализм, несмотря на модернистские претензии и индустриальную основу, был всего лишь разновидностью архаического (традиционного) общества. Впрочем, никто, кажется, не подчеркивает эту сторону дела, а если этого не делать, то формула «от социализма к капитализму» становится совсем неинтересной и сильно дезориентирует. Она тоже предназначена скорее для того, чтобы сказать самим себе что-то «приятное», нежели для того, чтобы что-то понять и объяснить.

Гораздо интереснее понимать трансформацию советского общества как появление индивидуальной частной собственности и рынка при одновременном переходе от индустриального общества к постиндустриальному.

Так нам удастся описать конкретную историческую специфику, и чтобы лучше почувствовать, как многозначительна эта специфика, вспомним, что на Западе то же самое (не вполне в отношении к частной собственности) происходило на фоне перехода от аграрного к индустриальному обществу.

В пределах «прошлого» советское общество сумело превратиться в индустриальное, оставаясь архаичным (традиционным). Не важно, что советское общество не вполне дотянуло до «уровня жизни» в материальном смысле до западных обществ. Несколько более низкий (не так уж намного, как думают) уровень жизни советского общества к началу 60-х годов вовсе не есть решающее доказательство его отсталости.

Проблемы советского общества в полной мере проявились лишь когда пришло время делать шаг, видимо, неизбежный для всех, кто перешел на машинно-промышленную основу. А именно, шаг в постиндустриальный мир. Говорят, что советское общество проспало последнюю «техни-

ческую революцию». Это правильное наблюдение, но оно само по себе не дорого стоит.

На самом деле Запад в 60-х – 80-х годах пережил не только техническую революцию, но и культурную. Советское же общество, можно думать, не просто проспало, но блокировало техническую революцию, потому что сопротивлялось культурным изменениям.

Дело в том, что культура при переходе к постиндустриальному обществу превращается в «материальную силу». Этим выражением пользовалась официальная советская теория общества, когда говорила о науке. Поразительно, насколько точно теория формулировала суть дела и до какой степени из нее ничего не последовало. А между тем, в самом деле, наука и культура на глазах становились паровозами экономического развития. Культура превращалась из надстроечного фактора экономики в одну из отраслей экономики, причем ведущую. Но чтобы этот паровоз тянул, нужна была возможность для *произвольного индивидуального перформанса*, а в советском обществе этой возможности не было.

Содержание культурной жизни в советском обществе проектировалось небольшой кастой (сословием, цехом, корпорацией – в данном случае неважно), следившей между прочим за так называемым «хорошим вкусом» и так называемой «моральной полноценностью» исполняемой культуры. Господствовал канон; культура была общей. Культурное самообслуживание жестоко пресекалось, а вместе с тем и возможности культуры как сферы экономики. Чтобы структурный экономический потенциал культуры использовался, нужно заботиться не о «хорошем вкусе», а о разнообразии.

Обычно в неповоротливости советского общества обвиняют партийное государство с его цензурной практикой. Но мне кажется, что в какой-то момент государственная цензура стала лишь придатком к менее формальной вкусовой цензуре культурного истеблишмента, который использовал ее как инструмент подавления конкуренции со стороны бесчисленного множества потенциальных конкурентов. А потенциальная конкуренция была безусловно очень сильна. Ведь в условиях разрушенных стандартов и либерализа-

ции рынка культуры почти каждый имеет шанс стать артистом.

На Западе сдерживающее влияние истеблишмента тоже было. Но это сопротивление оказалось легче сломать. Самые разнообразные явления – поп, модернизм, сексуальная революция – были элементами культурной перестройки и фрагментации культуры. Почему эта перестройка прошла сравнительно легко? Возможно, потому, что Запад был «открытым» обществом. А возможно потому, что государство и церковь как естественные союзники культурного истеблишмента были на Западе слабы, а крупный капитал был заинтересован в новых ресурсах и новых потребностях. Эти потребности в русско-советской традиции обычно именуется «духовными». Можно их называть и так, хотя лучше, я думаю, называть их потребностями в «символических благах».

*

«Гласность» была чрезвычайной важности событием в социальной и культурной истории советского общества. Обычно ее воспринимают как простую политическую либерализацию, как снятие государственной цензуры. Это все, конечно, так, но это далеко не все. Это даже не очень интересно. Гораздо интереснее другое.

Гласность была достижением одной и протобуржуазных групп, или одного из «буржуазоидов», как говорил в свое время Вернер Зомбарт, советского общества. Этот слой состоял из «авторов» или потенциальных «авторов», а точнее «исполнителей роли автора». Для ясности (а может быть, наглядности) дадим краткий портрет такого «буржуазоида».

Конечно, это интеллигент. Гуманитарий – согласно диплому или «призванию». Имеющий от государства привилегию на публичный гуманитарный перформанс (как Евтушенко), или же не имеющий права на публичность (как Бродский). Но и в том, и в другом случае ограниченный в своей исполнительской программе.

Важно, что лицензированному монополисту фактически было запрещено выступать с номерами, которые с 60-х

годов стали наиболее престижными и сулили наибольший успех – во всяком случае об этом говорит опыт самиздата и антисоветского салона. Это обстоятельство объединило конкурентов и сделало на какое-то время, скажем, Евтушенко, Бродского, Пугачеву и Гребенщикова союзниками, в чем нашла блистательное подтверждение марксистская концепция «класса» как образования, единого в своих интересах, несмотря на конкуренцию между входящими в него персонажами.

Еще раз повторим, экономическая эмансипация советского общества совпала с наступлением постиндустриальной эпохи. Переход задерживался архаическими элементами советской культуры и социальной структуры, и кто же как не социальный слой, ожидавший от перехода наибольших благ, должен был проявить инициативу и настоять на переменах, позволявших ему (как он надеялся) резко изменить свое положение в обществе.

*

Первые шаги «гласность» как социальная революция сделала в эмиграции. Там оказались те, кого более чуткий социальный и политический инстинкт толкнул в сторону литературно-политического или художественно-политического перформанса как предпринимательской активности. Те, кто вместе со своим словесным имиджем сами были собственным товаром на продажу. Номер, с которым они выступали, был некий антисоветский ритуал. Исполнение антисоветского ритуала и оказалось первой отраслью производства, вышедшей на вольный рынок.

Но на эмигрантской художественно-политической сцене разыгрывался только пролог. Настоящее действие началось в самой России, когда значительная часть истэблишмента (если не весь истэблишмент) продемонстрировала свою протобуржуазную сущность.

Собственно, уже в эмиграции на пятки первым мученикам-диссидентам наступали перебежчики из истэблишмента. Это были люди, добившиеся всех стандартных благ в советских условиях. Если уж мы говорим о литераторах, то это были лицензированные, публиковавшиеся писатели.

Старые аутсайдеры, находившиеся в состоянии войны с советской властью (и культурным истэблишментом) с давних времен, относились к ним презрительно и подозрительно, но настоящей социальной и политической силой были, конечно, не они, а «второй эшелон», их «попутчики», то есть перебежчики из истэблишмента.

*

Производители культуры в России оказались в сущности передовым отрядом предпринимательства, а сфера культуры – первой сферой советской экономики, которую можно назвать рыночной. На Западе триста-четырееста лет назад современный рынок начинал складываться вокруг торговли пряностями, табаком, ромом, драгоценностями, черными рабами, а затем – одеждой, причем сперва дорогой одеждой. А в России сейчас главным маркетизатором экономики оказывается «культура», то есть производство престижных фактоидов, знаков и образов. Это можно объяснить целым рядом обстоятельств.

Одно из этих обстоятельств можно назвать «негативным». Дело в том, что маркетизация культуры вышла на передний план, поскольку маркетизация традиционных производств сперва вообще не началась, а затем столкнулась с целым рядом трудностей. Это не только сопротивление заинтересованных слоев общества; это объективные трудности, и я не буду их сейчас обсуждать. Посмотрим, какие свойства самой культуры делают ее лидером при переходе хозяйства на рыночные отношения в конце XX-го – начале XXI-го века.

Во-первых, коммерческий индивидуальный перформанс не требует значительных фондов. Уже поэтому он общедоступен. Как мох и лишайник, он растет повсюду, или, как сказали бы представители этого «благородного» вида деятельности, – «дух дышит, где хочет».

Во-вторых, артисты могут существовать в маргинальных условиях еще и потому, что готовы на труд за минимальную плату. Многие артисты вообще зарабатывают на жизнь в другом месте и занимаются артистизмом побочно.

В-третьих, артисты, как правило, это те, кто склонен к

эксгибиционизму. Поэтому они, опять-таки, удовлетворяются микроскопическими доходами. Возможность показать себя сама приносит им удовлетворение; они готовы долго выступать вообще без вознаграждения.

В-четвертых, в советском обществе в условиях скудного материального потребления спрос на «духовные» или «символические» блага был всегда завышен, хотя бы потому, что скудость материальной жизни надо было чем-то компенсировать. Особенно в целях утверждения своего статуса и дезавуирования чужого статуса. Советские люди привыкли к показному потреблению культуры. Поэтому спрос на нее сохраняется даже тогда, когда товаров становится больше (чего пока не происходит), или денег становится меньше, что происходит.

После того, как эйфория и ажиотаж гласности прошли, из России стали раздаваться жалобы, что культура теряет свои позиции, что спрос на «духовные ценности» падает. Если это так, то, может быть, наивно возлагать надежды на культуру как на ведущую сферу рыночного сектора в советском обществе. Но не следует торопиться с выводами.

Надо прежде всего помнить, что жалобы исходят от тех производителей культуры, которые проигрывают конкуренцию за потребителя. Им кажется, что только они производят «духовную продукцию» и что их теснят производители «бездуховной», «вульгарной» продукции. На самом же деле спрос сдвигается просто в сторону других видов «духовки».

Далее, в условиях инфляции и обеднения широких слоев, естественно, у людей все меньше и меньше денег остается на «духовку». «Духовная» продукция, таким образом, все больше становится объектом потребления богатых. Совокупный спрос на нее может и упасть, но это вовсе не означает, что производство культуры становится второстепенным в процессе перехода к рынку. *Рыночный сектор может возникнуть только на верхних этапах потребления, то есть там, где экономические агенты (и производители, и потребители) оперируют товарами не первой необходимости.*

Вообще, культура принадлежит рынку по всем своим параметрам и сущности. Если бы это было не так, не нужен был бы институт цензуры и другие репрессивные элементы

издательско-репертуарной и выставочной практики. Как только эти ограничения в России были сняты, культура хлынула на рынок.

Правда, не все так безмятежно. Следует добавить, что маргинальный рынок мелких кустарей-одиночек не может сообщить экономической динамике обществу и надолго может законсервироваться как прикрытая форма нищенства (уличные музыканты – классический пример). Это в особенности может произойти, потому что и рынок культуры не гарантирован от удушения монополиями. Истэблишмент, сохраняющий контроль над средствами тиражирования и распределения, довольно успешно перехватывает надежный культтовар у самодеятельных кустарей-предпринимателей. Именно так повели себя русские толстые журналы, бросившиеся публиковать то, чему они сами (считается, что под давлением государства) еще вчера не давали дороги.

Естественно, что крупные монополии делают ставку уже на готовые авторитеты и пользуются уже существующим спросом. Когда спрос будет удовлетворен и готовые ресурсы будут исчерпаны, нужно будет создавать новые авторитеты и возбуждать новый спрос. Начнется новый виток развития рынка. На переходе старые монополии из-за цен на бумагу могут прогореть, но на их место неизбежно придут новые, и они пойдут по пути создания системы «звезд» или, если угодно, системы культов.

В плане развития культуры это будет ужасно, поскольку разнообразию будет нанесен тяжелый ущерб. В плане же развития рыночного сектора, вероятно, произойдет следующее.

Концентрация капитала в производстве культуры и возникновение крупной культур-буржуазии (индивидуальной или групповой в виде «тусовок») обеспечит постепенный переход разных других производств в частный рыночный сектор (разными путями, например, через скупку бумажных фабрик, фабрик по производству аудио- и видеоаппаратуры и т.п.). Вполне можно себе представить, что в конце концов какая-нибудь вторая Алла Пугачева купит и превратит в коммерческое предприятие «Уралмаш». А наследники Евтушенко (собственно, фирма «Евтушенко») приобретут сеть книжных магазинов, торгующих поэзией.

А фирма «Войнович и внуки» станет владельцем маленькой группы предприятий по ремонту однокомнатных квартир в Чертаново...

*

В заключение вернемся к тому, о чем мы толковали в первой половине наших вольных рассуждений.

Тип художника (литератора, артиста), который мы обнаружили на эмигрантской культурной сцене, несомненно соответствует той новой (о, мудрость природы!) роли, которая возникает в обществе, в частности в советском обществе, при переходе в постиндустриальную эпоху. Эта роль – исполнитель на публике всеобщей мелодии, исполнитель, воспроизводящий эту мелодию громче других и с ужимками, во-первых, привлекающими внимание, а во-вторых, производящими впечатление оригинальных.

В 70-х годах в России такими всеобщими мелодиями были "антисоветизм" и «самоуважение». Исполнители-предприниматели в ходе превращения этих мелодий в товар прибегли к «патетике» как способу усиления и придания многозначительности. Эти две мелодии в их патетическом варианте и идут контрапунктом через всю русскую литературу, сперва в эмиграции, а потом и в самой России в эпоху гласности.

Мы можем, как и полагается снобам, морщиться по поводу дурного тона этой литературы. Но, право же, гораздо интереснее, чем качество этой литературы, ее культурно-исторический смысл. Мы слышим голос возникающей культур-буржуазии, которой еще предстоит (этот процесс уже начался) разложиться на крупную, среднюю и мелкую, да и породить, как водится, «пролетариат», собственно, «культур-пролетариат».

А если это так, то еще важнее то, что при определенном стечении обстоятельств и при условии определенных политических мер именно коммерциализация культуры могла бы сильно способствовать рыночной эмансипации общества советского типа.

Слово – это не просто сотрясение воздуха. Слово – это знак (в частности, «знак достоинства»). Слово – это товар.

Роги фон Римс
Александр Тибетов

ПРЕОДОЛЕВАЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА **(о романе Владимира Сорокина «Сердца четырех»)**

Нам радостно поздравить читателя с тем, что русская литература недавно обогатилась новым замечательным произведением молодого московского писателя Владимира Сорокина.

Выпуклая и яркая обрисовка человеческих характеров сочетается у Сорокина с захватывающим нас смелым развитием действия.

В центре произведения – четыре разных человека, которых свела общность интересов, ставшая их судьбой.

Старший из них, Генрих Иванович Штаубе, переживший голод и унижения, потерявший ногу, сохранил в себе удивительную свежесть чувств и непреклонность воли. Вот сцена в бане, где после тяжелого трудового дня собрались четыре друга. Пространщик Михась подает полусладкое шампанское. Но не утративший тяги к полноте бытия Генрих Иванович требует сухого самой высшей марки:

– Тащи все, гад! Все! Чтоб все стояло здесь! Все! – стучал кулаком Штаубе. – Полусладкое! Ты что, говнюк, в детстве сахара мало ел?! Или решил, что мы блокадники? Или ветераны войны, ебать их лысый череп?! Это им ты будешь клизму с полусладким вставлять в жопы гемморройные, по-

нял? Им! А нам это... – он схватил бутылку и швырнул в Михася, – по хую!

Если Генрих Иванович воплощает собой неумный темперамент четверки, то предельно ответственный Виктор Валентинович Ребров – это разум коллектива. После того, как Штаубе однажды пошел на поводу у собственных чувств, забыв об общем деле, Ребров обращается к своему товарищу с такими словами:

– Наш союз, наша дружба, Генрих Иванович, держится не только на взаимной любви. Но и на вполне конкретных взаимобязательствах. Оскорбляя себя, унижая себя, вы оскорбляете и унижаете нас.

А за словами следует и дело – кара, пусть незначительная, почти символическая, но все же такая, которую оступившийся никогда не забудет:

Мальчик отпустил протез, подошел к столу и немного помочился в чашку. Вошла Ольга, держа в руках небольшой саквояж и толстый стальной прут с деревянной рукояткой, к концу которого было приварено стальное тавро – крест в круге. Тавро было раскалено. [...] Ольга примерилась и прижала тавро к ягодице старика. Зашипела раскаленная сталь, показался легкий дымок. Штаубе забился на кушетке.

Ольга, прямая наследница народоволок, решительных и прекрасных тургеневских женщин, меткий стрелок, человек действия, берет на себя тяжелое бремя исполнения тех замыслов, которые вынашивает содружество. Ничто на свете не остановит героиню! И немудрено, что после ее самоотверженных действий в поезде, ее бесстрашие вызывает недоумение даже у выдавшего виды смельчака-украинца, верного помощника четверки:

Ольга рванула дверь второго купе, выстрелила в лицо спящей женщины, бросилась к купе проводницы: та сидела на полу, держась за простреленную кисть, рядом валялся хрипящий воки-токи. Ольга разнесла его пулей, навела пистолет на проводницу: – Как насчет чайку? [...] Ребров и Штаубе высунулись из купе.

–Шо ж вы, гады, поховались, як пацюки, а бабу воевать выставили?! – злобно повернулся к ним человек в кубанке.

– Так надо, – пробормотал Ребров.

И, наконец, подросток Сережа. Его главная черта – пытливость. В нем старшие друзья обретают свою вторую молодость. Все его занимает. Он и Ольгу вызывает на откровенность:

- Оля, а у Реброва большой хуй? – спросил Сережа.
 - Обыкновенный.
 - Меньше, чем у Фариды?
 - Конечно. Смотри!
- Белка прыгнула с сосны на ель.

и разужнает у Реброва:

- Виктор Валентинович, а что такое термодинамика?

Что связывает этих, столь не схожих, но столь прочно дополняющих друг друга людей? Со многими волнуемыми эпизодами – перестрелками, погонями, опасными путешествиями – предстоит познакомиться читателю, пока он, уже в самом конце романа, не получит ответа на этот вопрос. После преодоления, казалось бы, не преодолимых для человека препятствий, истекающей кровью четверке удастся добраться до далекого сибирского завода, где герои ложатся – каждый под свой – формовочный пресс:

Прессы заработали. Их головки стали опускаться, раскрываясь.

- Оля! – позвал Сережа.
- Молчи! Молчи! – радостно плакала Ольга.
- Вот... – Штаубе прикрыл глаза, облизал потрескавшиеся губы.

Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги.

Заврацались резцы, опустились пневмобатарей, потек жидкий фреон [как интимно знаком молодой автор с современным производством! – Р.ф.Р., А.Т.], головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спрессованные в кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральных костей. Через 3 минуты роллер выбросил их на ледяное поле... Не является ли эта концовка слишком неожиданной, слишком разочаровывающей читателей, которые уже успели полюбить четверку отчаянных друзей?

Начнем разговор об этом издаека. Чем была бы декадентско-авангардистско-постмодернистская культура XX века без заливчатской, унижающей человеческое достоинство идеи сверхчеловека? Ведь горячечная суперменская фантазия Ницше стала как бы реальностью и у декадентов-символистов, которые в их всеядности уверовали в то, что у них есть возможность заново пережить все прошлые эпохи, и у авангардистов-формалистов, возомнивших, что им дозволено пребывать в будущем, и у так называемых по-

стмодернистов, которые взялись судить-да-рядить, непрошенные, о том, что на самом деле значит все сказанное до них.

Потому-то нам с тобой, читатель, замороженным мудрствованием XX века, так созвучны герои сорокинского романа, что ничто сверхчеловеческое им не чуждо.

Еще не вылечившиеся от тлетворного влияния фрейдистской лженауки о ребенке, якобы, Эдипе, мы, конечно же, сочувствуем сверхчеловеческому, дерзновенному протесту четверки против рода и семьи, выразившемуся в совершенном ею убийстве родителей Сережи и матери Реброва.

И нас, злокозненно разлученных с нашей собственной человечностью, разумеется, притягивает к себе мысль о втором рождении человека, которая сквозит в попытках четверки оживить и, как сказали бы наши недруги на Западе, сексуализировать труп. Покончили с семьей Сережи. Пристрелили его отца и – в итоге:

Ольга с Сережей перевернули труп мужчины, расстегнули и спустили с него штаны, спустили трусы. – Сережа, – Ребров оттянул крайнюю плоть на члене, отстриг головку и быстро вложил в рот наклонившемуся Сереже. Сережа стал сосать головку, осторожно перекатывая ее во рту. Ольга вытерла ему губы платком.

Нам, в общем, нетрудно понять то обстоятельство, что для сверхчеловека человеческое должно потерять свою форму, стать бесформенным, жидким. Ребров, убив маму, не расстается с ней до самого своего конца, нося ее в бидоне (самые закоренелые представители культуры XX века, американцы, обычно называют ликвидированную мать «the liquid mother»).

Да, Сорокин разочаровывает нас, заставляя своих мужественных героев в конце концов лечь под пресс. Но тем самым выдающийся, если не единственный, продолжатель русского реалистического романа второй половины XIX века открывает перед нами новые дали. Кончилось сверхчеловеческое. Оно преодолело и себя. Что началось? А хуй его знает?!



Михаил Айзенберг

ДЕКРЕТ О СВОЕМ И ЧУЖОМ

Когда в Москве с треском провалился фестиваль «Красная площадь приглашает», это заметили все. Все заметили, что мало кто откликнулся на приглашение. Но у этого шумного конфуза была очень тихая, камерная репетиция: выставка «Соц-арт», проходившая немного раньше и немного дальше от центра, а именно – в музее В.И. Ленина, за плотным кольцом митингующих охранителей с корявыми плакатиками. Почему-то даже они не обратили внимание на кощунственную экспозицию, развернутую в сердцеvine святилища. Идеологически чистые зоны в Москве исчезают катастрофически быстро. Похоже, их уже не осталось. В основе обеих затей лежала, как можно понять, идея десакрализации, причем в музее это осуществлялось сугубо партизанскими методами. Выставка как будто продолжила соц-артистскую тактику «освоения враждебных территорий», но с обескураживающим результатом. Враждебности никто не заметил, и любопытно понять, почему.

Явная ошибка устроителей в том, что они выбрали слишком сходную среду. По масштабу и значительности выставка не выдерживала сравнения с основной экспозицией, где висит и стоит как бы то же самое (транспаранты, лозунги, монументальные идеологизированные изобразе-

ния и прочее), только добротней и чище исполненное. Были и неожиданные совпадения, снимающие весь кощунственно-комический эффект, а на некоторые вещи неискушенный посетитель мог просто не обратить внимание, приняв их за часть технического оформления. Работа И. Кабакова «Инструкция к функционированию комнаты отдыха» висела в конце коридора рядом с затемненным кинозалом, который многие, видимо, и сочли этой комнатой отдыха, а в другом конце, симметрично – «План эвакуации», выполненный в той же эстетике, но относящийся уже к музейному хозяйству.

Выставка действительно получилась какой-то музейной: спокойной, ретроспективной. Итоговой. Что ж, пора, видимо, подводить итоги, ведь соц-арту уже больше двадцати лет. Можно посчитать и точнее, потому что рождение этого течения точно известно. По крайней мере год рождения термина: он был изобретен в 1972 году художниками Александром Меламидом и Виталием Комаром, тогда же ими были совместно сделаны первые чисто соц-артовские работы, – портреты близких в условно-плакатной манере. Несколько таких работ представлено на выставке. Среди них висит одна картина, написанная совершенно иначе и наверняка в два приема с разрывом во времени. Это картина-палимпсест: очень добротный и красивый пост-сезансовский интерьер, и на эту сложную, зыбкую живописную поверхность нанесены по трафарету ряды условных фигурок. В отличие от настоящих палимпсестов первоначальный «текст» не уничтожен окончательно, уничтожен только его художественный смысл. Вещь почему-то производит очень тяжелое впечатление. Фигурки хочется смыть разбавителем. Интерьер явно писался всерьез, долго и с любовью, а потом автор (кто из двух?) как-то отчаялся и вот решил все перечеркнуть. Но *как* перечеркнуть? Вот так аккуратно, по трафарету. Для вторичного использования.

Если это действительно отчаяние, то трудно себе представить его характер. Одним движением автор инвентаризовал тот стиль, который только что разрабатывал как свой, личный. Удивительно, что только сейчас, через много лет, стали понятны серьезность и угрожающая значительность этого жеста, этого Великого Отказа.

Я помню, какое впечатление производили первые соц-артистские работы Комара и Меламида: двойной автопортрет, «Лайка», какая-то свинья в виде диаграммы роста мяса... Первым чувством была веселая оторопь. Только потом стало понятно, что нельзя к этому относиться как к живописи, это что-то совсем другое. Такая игра, чье опытное поле вовсе не искусство, а общественное сознание. Но игра умная, тонкая, азартная, смелая и вполне виртуозная. Артистическая игра. Артистизм, присущий самим авторам, скрашивал их «общественную работу», заражал ее обаятельным творческим весельем. Эта заразительная атмосфера затрудняла понимание того, что художники занимаются не художественной, а культурной деятельностью. (Точно отделить культуру от искусства невозможно, но это вещи разные). Речь не шла о каком-то камуфляже, просто высокая творческая скорость как бы по инерции выносила их из замкнутого круга.

Но кто знает, не другая ли инерция заставляет нас считать Комара и Меламида только «заслуженными работниками культуры»? На каком, собственно, основании? Оснований много, но все они сомнительны, и только так – в вопросительной форме – можно говорить об этом сложном, отчасти загадочном явлении. Оно как-то не укореняется в сознании, не музеефицируется. Споры не стихают. «Это не художники, а шарлатаны», – слышалось тогда, но можно услышать и сейчас, после всех их американских триумфов. Именно в таком определении чувствуется полное непонимание проблемы. Они же и стараются симуляцию (то есть шарлатанство) сделать искусством. Важно понять, насколько им это удается.

Преображение видимого и поиск новых форм не входят в задачу новейшего искусства. Художник не старается отсеять постоянный шум, чтобы что-то расслышать за ним, он ищет художественную формулу шума. В «мире стрелок и надписей» (П. Валери) он делает новые стрелки и надписи. Главным для художника становится работа с собственным сознанием, а произведение лишь фиксирует, оформляет эту работу. Соответственно, и к сознанию зрителя автор пытается обращаться напрямую. С этим связана открывшаяся художнику возможность решать свои задачи на уровне идеологии и эстетической критики, лишь декорируя их

заемной пластикой. Он становится артистом оригинального (ранее не существовавшего) жанра. Авторы, работающие с сознанием как с основным материалом, должны ловить сознание на всяких неожиданных и неприятных вещах (вторичности, клишированности) и поэтому *вынуждены* пользоваться ловушками, уловками, обманками и другими приемами, не вызывающими восторга у серьезных людей.

Но удивительно, что именно полное отсутствие серьезности в работах Комара-Меламида вызывало на первых порах энтузиазм, очень сложный по составу. Туда явно входило эстетическое чувство, хотя, казалось бы, откуда ему взяться? «Что они сейчас делают?», – выспрашивали мы друг у друга.

– Шьют красные трусы для беднейшего населения планеты.

– Консервируют дерьмо для орошения полей слаборазвитых стран.

– Жарят котлету из газеты «Правда», провернутой в мясорубке.

Присутствовать и видеть было необязательно, в пересказе звучало даже интереснее. И это очень характерно для соц-арта, который чем-то близок анекдоту. Пересказ, обсуждение, общественный резонанс – естественная среда его обитания. Но это анекдот из другого измерения: из коммунальной жизни несоместимых языков и идеологий. Наверное, правильной анекдот такого рода назвать пародией, а уже произнеся такой термин, можно решиться на одно смелое предположение. Дело в том, что пародии поддаются только смысловые элементы явления, потому-то она не всегда возможна (нельзя спародировать абстрактную картину). Пародист оперирует тем же материалом, что и пародируемый, но с противоположной целью. Вернее, материал пародиста это смысловая, литературная составляющая материала пародируемого. И многих недоразумений можно избежать, если воспринимать соц-арт как явление, принадлежащее одновременно и живописи, и литературе. Может быть, в большей мере литературе.

Мы знаем, что время ослабляет пародийность, «большой стиль» затягивает в себя и пародию, присваивает ее. Действие материала оказывается сильнее действия опрокинутого содержания. Восприятие спрямляется. Что-то подо-

бное происходит и с соц-артом Комара-Меламида. В каком-то телевизионном фильме их работы шли в одном ряду с советскими плакатами. Но это ладно. Интереснее, что в их американской серии «Ностальгический социалистический реализм» некоторые западные зрители действительно видят что-то ностальгическое. То есть сам Великий Отказ уже непонятен, не различим новым художественным сознанием (совершенно, надо сказать, загадочным). От изощренной комической стилизации как-то странно ждать личных откровений. А они ждут. Ну, не ждут, но допускают и такое толкование. Почему нет?

И действительно: почему нет? Отчего не проявиться своему через чужое? Ведь стилистика соцреализма пародировается не потому, что она «плохая», враждебная. Этот пустотелый монолит, этот страшный сталинский амфир даже более «свой», чем все прочее, просто потому, что на фоне таких декораций прошло детство. Едва ли авторы считают этот язык чужим. Скорее, сознательно отказываются разделять сущее на свое и чужое. И в той же степени все – свое.

Первые опыты соц-арта были приняты либо слишком плоско-враждебно, либо слишком благодушно. В них увидели издевательское (или издевательски-серьезное) передегивание официального языка, – как бы специфическую форму борьбы с советской властью, представленной на этот раз соцреализмом. Вот, смотрите, этому пугалу подрисовывают усы, ставят с ног на голову и так далее. Издеваются. Но отчасти и борются по-своему против общего врага. выставка в музее Ленина как будто возвращает нас именно к такому восприятию соц-арта, с чем и связана ее неудача. Дело-то было не в советской власти и не в соцреализме, те просто слишком удачно, слишком соблазнительно «подставлялись». Опыты такого рода – что-то вроде разведки боем. Нарбатывались приемы борьбы с любой властью, в том числе и той, которая не воспринимается как власть. С властью идей (*любых* идей), с властью искусства (*любого* искусства), с властью привычного для человека образа самого себя. В основе этой борьбы лежит убеждение, что любая власть – советская.

Соц-арт – это превратившийся в оборотня советский язык, но не только поэтому он так смешон и диковат. В своих претензиях на подлинность он смешон точно так же,

как и *любой другой*. Вот в чем пафос этого на вид совсем не пафосного искусства. Вот его сокрытый, но ошеломляющий удар, от которого трудно опомниться. «Как и любой другой!» Этот вызов звучит как приговор. Он произнесен, не слышать его бесполезно. Надо отвечать.

БЕЗ ПАНИКИ!



ЧИТАЙ „МИТЬКИ-ГАЗЕТУ“!

Елена Смирнова

МИФОЛОГЕМА СТРАДАЮЩЕГО БОГА И СТРАСТИ ВЕНИЧКИ ЕРОФЕЕВА

... истинно дионисическое миропонимание требует, чтобы наша личина была в сознании нашем ликом самого многоликого бога и чтобы наше лицедейство у его космического алтаря было священным действием и жертвоприношением.

Вяч. Иванов. Нищие и Дионис

Едва ли кто-нибудь из людей знакомых с вопросом станет возражать против того, что в накопившейся к настоящему времени литературе о ерофеевских «Петушках» безусловно преобладает установка, которую хочется назвать *реальной*: все, о чем рассказывает герой-повествователь, принимается за чистую монету, когда же дело доходит до материй слишком уж необыкновенных, несурезица списывается за счет сна или пьяного бреда героя. Такие же моменты, как эпизод, когда пассажиры обращаются к герою попеременно то как к ребенку, то как к женщине, то как к военному, и он не может понять: «я в своем уме, а они все не в своем – или наоборот», как будто не привлекают

никакого интереса со стороны критики и во всяком случае никакого истолкования не получают.

Наше читательское восприятие, видимо, настолько за-дубело за десятилетия насаждавшегося у нас *реализма без берегов и границ*, что даже читая черным по белому о диалоге героя с Сатаной или Сфинксом, мы стыдливо обходим эти фрагменты в своем анализе ерофеевского текста. О том, что в искусстве возможен не только реалистический метод, мы как будто забыли. А между тем автор «Петушков» специально наводит наше внимание на этот факт. Имею в виду упоминание Веничкой трех «сторон» человеческой личности – физической, духовной и мистической. Это упоминание далеко не случайно. Оно намечает три главных плана, в которых разворачивается все происходящее в произведении. Последний из них, в частности, играет в нем важнейшую конструктивную роль, и, обходя его молчанием, критика неизмеримо обедняет произведение (хотя талант Ерофеева таков, что и одного из трех планов достаточно, чтобы увидеть в нем замечательного писателя). И поскольку этот мистический план был полностью обойден критикой, именно на нем и хочется остановиться. Оговариваюсь, что вижу здесь лишь один из аспектов ерофеевского произведения, но в то же время столь существенный, что считаю возможным посвятить ему это небольшое специальное выступление.

Рассматривая произведение Ерофеева в разрезе трех названных Веничкой «сторон» человека, мы сдвигаемся с позиций реализма в сторону эстетики театра Блока, где три героя из различных драм представляют отдельные стороны одного человека, а один и тот же персонаж попеременно является то в облике женщины, то – звезды.

Театр Блока взят в качестве примера не случайно. Дело в том, что ерофеевский текст явно отмечен следами его воздействия. Вспомним хотя бы фразу: «И звезды падали на крыльцо сельсовета» (блоковский образ, аранжировка Ерофеева). Образы двух чрезвычайно похожих друг на друга и одинаково одетых усатых пассажиров в Веничкином вагоне (один из них – женщина с усиками), по-видимому, навеяны парой усатых близнецов из той же «Незнакомки», отличавшихся только рисунком усов.

Не без влияния Коломбины из «Балаганчика» нарисован

и образ Веничкиной возлюбленной. Внешность блоковской героини передается в драме тремя чертами: необыкновенная белизна, коса за плечами и пустые глаза. Героиня Ерофеева обладает первым и вторым. Глаза же у нее – это не может не ошарашивать читателя – белые. Но зная генезис этого образа, мы осознаем, что белые это и есть пустые. Когда же Веничка называет их «бельмами», эта метафора приближает их к пустоте и по существу. Черты внешнего сходства дополняются тем, что как и Коломбина, ерофеевская героиня оказывается для новоявленного Пьеро – Венички фатально недостижимой. Не замыкающееся в рамки трехмерного пространства произведение Ерофеева на каждой странице обнаруживает многочисленные образы, уходящие корнями в поэзию столь любимого им символизма.

Соответственно тому, как реальный мир у символистов «сквозит и просвечивает иными мирами» (С. Городецкий), сквозь земные черты ерофеевских героев «просвечивают» образы, принадлежащие «мирам иным». В своей статье «Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа»*, оказавшейся лишь подступом к решению поставленных здесь вопросов, я писала о Христе как о мистической ипостаси образа Венички. Но, как мне стало ясно впоследствии, одним Христом эта ипостась не ограничивается. Она включает в себя и другое божество, а именно страдающего эллинского бога Диониса, бога вина и родоначальника трагедии.

«... выше музыки для него, кажется, ничего не было, – вспоминает о Ерофееве Ольга Седакова; – разве только трагедия, из духа этой музыки родившаяся, как утверждал хорошо прочитанный им Ницше»**. А теперь самое время вспомнить слова Стефана Цвейга о «маловерных, школой и сценой приученных узнавать трагедию лишь в театральном одеянии. Но истинный трагизм, – утверждает в своем эссе о Ницше австрийский писатель, – никогда не бывает театрален...»***. Здесь закономерно возникает вопрос: а не является ли трагедией поэма в прозе «Москва – Петушки»?

На это наталкивает и посвящение Вадиму Тихонову, в

* Русская литература. 1990, № 3.

** Театр. 1991. № 9, стр. 100.

*** Стефан Цвейг. Фридрих Ницше. Таллин, 1991, стр. 7.

котором Ерофеев именует свою книгу: «эти трагические листы». Вообще можно сказать, что все его повествование пронизано трагической темой.

«Эсхило-софокловская трагедия, – пишет Ницше в своем «Рождении трагедии», – пускает в ход остроумнейшие приемы, чтобы дать зрителю в первых сценах как бы невзначай в руки все необходимые для понимания нити: здесь сказывается то благородное мастерство, которое как бы маскирует все формально необходимое и придает ему вид случайного»*. Этим же путем идет и наш автор. Только если у греков «невзначай» сообщались факты, помогающие распутыванию интриги, у Ерофеева следует говорить о словах и образах, играющих роль ассоциативных сигналов.

Так, уже на первых страницах появляется как бы между прочим брошенное замечание: «Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?» В тамбуре в момент подступающего удушья, когда герой непроизвольно хватается за горло, возникает тема Отелло, а затем, мысленно объясняя свои жесты пассажирам, он сравнивает себя с «великим трагиком Федором Шалапиным». Закljučая рассказ о снятии с бригадирства, он описывает борьбу своего сердца с рассудком в следующих выражениях: «Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением». Не забыты в тексте и трагедии Шиллера, и, конечно, греческая трагедия с ее темой рока («...если только не подохну, убитый роком»), хором Эринний и эдиповскими темами сфинкса с загадками и инцеста («Почему же ты меня непустишь? Там, в Петушках, – чего? (...) Там кто-то вышел замуж за собственную дочь?..») и т.д. Всего не перечислить. Остановимся только на следующем пассаже из главки «Никольское – Салтыковская»: «И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво – из чего это месиво, сказать затруднительно, да вы все равно не поймете – но больше всего в нем "скорби" и "страха" (...) И каждый день, с утра, "мое прекрасное сердце" источает этот настой и купается в нем до вечера». Можно было бы понимать это высказывание как некое объективное сообщение биографического порядка,

* Фридрих Ницше. Соч.: в 2-х т. М., 1990. Т. 1, стр. 104-105.

объясняемое социальными причинами. Но откуда взялся тут «страх»? Он совершенно никак не мотивирован. И поневоле останавливаешься на предположении: ерофеевский герой слегка видоизменил двучленную Аристотелеву формулу, определяющую трагедию через *страх* и *сострадание*. Догадка подкрепляется последующими строками: «У других (...) это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет (как видим, ничем социальным тут и не пахнет – речь идет явно и несомненно о трагедии. – Е.С.). Но у меня-то ведь это вечно!»

Раз уж трагедийная тема так прочно переносится на древнегреческую почву, уместно будет вспомнить слова Ницше о том, что «греческая трагедия в ее древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса» и «что все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и т.п. – являются только масками этого первоначального героя – Диониса».* Не является ли такой «маской» Диониса и образ ерофеевского героя?

Рассмотрим в этой связи один довольно выразительный фрагмент: «Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет (...) Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго...». Замысловатое это построение скрывает в себе недвусмысленный намек: герой по части выпивки неизмеримо превосходит сверхчеловека. Кто же он тогда? Ответ напрашивается сам собой. Отметим также, что не названный здесь Ницше служит неким ассоциативным мостиком между сверхчеловеком и Дионисом.

Но где же, возникает вопрос, у Ерофеева бог страдающий? Ведь Дионис, согласно мифу, был в детстве разорван на куски титанами. Обратим вначале внимание на то место в тексте, где эта судьба предсказывается (один из тех «случайных» намеков, о которых по отношению к греческой трагедии писал Ницше). Этот фрагмент сопровождает рецепт коктейля «Слезка комсомолки»: «Режьте меня вдоль и

* Там же, стр. 93.

поперек – но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой».

Удвоенный образ расчлененного тела не может быть здесь простой случайностью. Намеренность сквозит и в некоторой неточности его словесного оформления (*разрываюсь* на части от смеха вместо более свойственного русскому языку *лопаюсь*).

Что же касается реализации этого образного предсказания, то она происходит (разумеется, с неизбежной долей художественной условности) в эпизоде, когда герой попадает в водоворот, созданный столкновением двух людских потоков – выходящего из вагона и входящего в него («Орехово-Зуево»). Заметим слова, которые Веничка произносит, приходя в себя после всей этой передраги («Смутище-Леоново»): «Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?»

Но еще до этих слов «расщепление» Венички – Диониса демонстрируется в образной форме. Показать его Ерофееву помогает известная из мифологии *многоликость* Диониса. И вот писатель как бы отождествляет каждую часть разорванного тела героя с той или иной ипостасью многоликого бога. Именно после эпизода в дверях вагона, т.е. после мистического растерзания жертвы, начинаются непонятные ни читателю, ни самому герою обращения к нему как к мальчику, затем как к женщине, и, наконец, его называют «товарищ старший лейтенант». *Мальчик* напоминает о том, что растерзание тела бог претерпел в детстве, обращение «милая странница» связано с андрогинностью Диониса, наличием в нем женского начала, «товарищ старший лейтенант» ведет к богу войны Аресу, имевшему первоначальное культовое единство с Дионисом. Сведения обо всех этих «ликах» Диониса Ерофеев мог почерпнуть в фундаментальном исследовании Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога», публиковавшемся в журнале супругов Мережковских «Новый путь».

Ерофеев не только «хорошо прочел Ницше», как выразилась Ольга Седакова. Он был и прекрасным знатоком литературы серебряного века – эпохи взлета русского дионисийства, ведущей фигурой в котором был Вячеслав Ива-

нов. И с его работами, посвященными культу Диониса, мы находим у Ерофеева переключки чуть ли не на каждой странице. Главное же, что взял Ерофеев у Иванова в его постановке проблемы Диониса, это подключение фигуры эллинского бога к образу Христа. Если Ницше специально подчеркивает «враждебное молчание»*, которым на протяжении всей его книги «Рождение трагедии из духа музыки» обойдено христианство, – Иванов всячески стремится нащупать родственные связи между обеими религиями и сделать из Диониса языческого предтечу Христа.

«В евангельских притчах и повествовании мы встречаем непрерывную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений», – пишет он в работе «Религия Диониса». Вопросы жизни. 1905. № 7, стр. 134-135. Поскольку «Новый путь» перешел в другие и изменил название, изменил в нем и заглавие своего труда Иванов. В ряду названных им мы находим и те, которые постоянно фигурируют у Ерофеева: «полевые лилии, облик сына человеческого как гостя и хозяина пиршеств и участника веселий (...) Наконец страдающего, убитого, женщинами оплаканного...» (вспомним у Ерофеева: «О сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, – чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..»). Таким образом, герой Ерофеева спроецирован не только на Диониса, но и на Христа одновременно. При этом, однако, Христос Ерофеева обладает теми чертами, которыми в своей книге «Антихрист» наделил его Ницше, резко отделявший Христа от христианства. Но об этом ниже.

Вспомним, что уже первое упоминание об Искупителе в самом начале «Петушков» (слова Христа, обращенные к матери) связано с эпизодом в Кане Галилейской, где Христос совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Другими словами, он выступил как бы в роли Диониса (этот момент, кстати, также входит в число перечисляемых Ивановым совпадений). И таким двоящимся образом бога оперирует Ерофеев и дальше.

Вот Веничка в вагоне выкладывает содержимое своего чемоданчика – от бутерброда до розового крепкого за рупь

* Там же, стр. 53.

тридцать семь, – отделяет от этого всего четвертинку российской и отправляется с ней в тамбур. «Раздели со мной трапезу, Господи!» Эти действия и слова меньше всего напоминают благодарственную молитву христиан перед вкушением пищи, зато сильно смахивает на языческое жертвоприношение.

«... пиршество в его ритуальном значении, – пишет в своей «Религии Диониса» Вячеслав Иванов, – угощение богов...»*. Прежде же («Эллинская религия страдающего бога») он сообщал: «Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых...». Далее он рассказывает о совместных трапезах, «где боги принимают участие наравне с людьми», и говорит, что примеры этого встречаются «и в Дионисовом культе». Нужно упомянуть также об «интуиции пресуществления», свойственной культуре Диониса: вкушивший плоть жертвы принимал бога в себя, становился одержимым Дионисом.** Но сомнительный этот Бог напоминает Веничке о святой Терезе, т.е. выступает и как божество христианское.

Во всех рассуждениях и автохарактеристиках Венички Ерофеев с удивительным искусством сочетает ту же одновременно ориентированность на Диониса и на Христа. Так, он подчеркнуто противопоставляет духовную сущность своего героя тому сократическому культу разума и порожденному им мировоззренческому оптимизму, о которых Ницше сказал, что они убили трагедию. Если, по словам немецкого философа, верховный закон эстетического сократизма гласит: «Все должно быть разумным, чтобы быть прекрасным»***, – дионисический герой Ерофеева заявляет: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Но признание всемогущества рока отождествляется у героя с христианской покорностью промыслу, пути которого неисповедимы (рассуждения об икоте), а установка на трезвый разум – с атеизмом («Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это

* Вопросы жизни. 1905. № 6, стр. 214.

** См.: Новый путь. 1904. № 8, стр. 17.

*** Фридрих Ницше. Соч.: в 2-х т. Т. 1, стр. 104.

лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма»). Наконец, герой без всяких обиняков называет себя дураком и вызывающе утверждает, что при наличии совести и вкуса «мозги делаются прямо излишними».

Таким образом, автохарактеристика «дурак» восходит одновременно и к дионисийской, и к христианской философской первооснове. Она же ведет и к характеристике Христа как «идиота» (в словоупотреблении Достоевского), данной Ницше в его «Антихристе». Возражая Ренану, у которого Христос назван «героем» и «гением», Ницше утверждал, что каждое из этих определений столь же неуместно, как и другое. «Но что только можно назвать неевангельским, так это именно понятие "герой", – пишет он. – Как раз все противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца является здесь как инстинкт: неспособность к противодействию делается здесь моралью...»* и т.д. Ерофеев безусловно опирался на эти утверждения, заставляя своего героя восклицать: «Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие». Обратим внимание на слова, явно ведущие к Иисусу: «Всеобщее малодушие» – да ведь это (...) предикат величайшего совершенства!»

Что же касается понятия «идиот», то автор «Петушков» не мог быть с ним знаком, потому что впервые этот фрагмент текста появился в печати по-немецки в 1956 г., а по-русски в 1990. В русском же издании «Антихриста», которое было доступно Ерофееву, он мог прочесть следующее: «Все наше понятие, все наше культурное понятие «ум» не имеет никакого смысла в том мире, где живет Иисус. Строгость психолога заставляет сказать, что здесь было бы уместнее совершенно другое слово...». ** Многоточие заменяет конец фразы оригинала: «слово "идиот"». Заставляя своего героя именовать себя дураком, Ерофеев, как видим, не отступил от духа немецкого мыслителя.

К тому же «дураку» хочется подверстать и эпитеты, которыми героя то и дело наделяют другие персонажи: «Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! – объясняет ему возлюбленная свой отказ выйти за него замуж. – Сам

* Там же. Т. 2, стр. 654.

** Фр. Ницше. Антихрист. СПб., 1907, стр. 62.

знаешь, почему, угорелый». «Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!» – кричит ему одна из Эринний. Перекликаясь с нищевско-ерофеевской трактовкой Христа, эти определения в то же время звучат в унисон и с постоянным эпитетом, которым эллины наделили Диониса, – *безумный*.

Но наиболее четко все Веничкины лики – и земной, и через него «сквозящие» – сконцентрированы в его вопросе: «Отчего я и дурак, и деймон, и пустомеля разом?» («Никольское – Салтыковская»). С «дураком» и «пустомелей», кажется, все ясно, что же касается деймона – то это по-гречески дух, божество. Ну а раз божество, то кто же еще, как любит говорить ерофеевский герой, если не Дионис?

Распознав в мистической «стороне» ерофеевского героя Диониса, мы легко обнаружим и его постоянную свиту – неистовых менад. Первая из них – это его страстная возлюбленная. Вспомним хотя бы, как она пьет, запрокидывая голову. Это типичная поза менады. Впрочем, у Ерофеева все пьют, откинув головы, как пианисты. Иванов же сообщает, что в торжества и жертвоприношения в честь Диониса входили «кликания с сильным отбрасыванием головы».*

Состояние, которое герой испытывает в объятиях своей подруги, как будто подсказано ивановским описанием оргийного экстаза «в его спазмах полноты, переливающейся через край, счастья, разрешающегося в восторге страдания, силы, ищущей освобождения от своего избытка в муке и смерти, упоения жизнью, переходящего в радость уничтожения».** Менады узнаются и в преследующих тракториста Евтюшкина Эринниях, которые, налетев на обратном пути на героя, «погребают» его под собой. Хотя герой и называет их «богинями мщения», но звуки бубнов и кимвалов, сопровождающие их стремительное движение, выдают в них менад. Между тем в своей диссертации «Дионис и прадионисийство» Иванов поместил специальный параграф «Эриннии как отражение прадионисийских менад в мифе». В тексте этого параграфа находим и следующее сообщение: «Страстная легенда запечатлела культурную

* Новый путь. 1904. № 9, стр. 19.

** Там же. № 3, стр. 61.

память о мужеубийственных оргиях киферонских менад, еще не укрощенных дельфийской религией». * Таким образом, источник этого эпизода у Ерофеева можно считать установленным. Заключительные же слова эпизода, связанного с менадами, «И хохотала Суламифь» – устанавливают связь между участницами вакханалии и менадой – возлюбленной героя, поскольку его рассказ о ней был наполнен реминисценциями из «Песни Песней».

Страсти Венички – Диониса после «расщепления» непосредственно переходят в страсти Христовы. Страшная тоска, овладевшая героем в поезде, имеет своим прообразом состояние Христа в Гефсиманском саду. "Камердинер" Петр, дважды засыпавший во время Веничкиного бдения, – это, конечно, аналог евангельского апостола Петра. И он, и Понтий Пилат, и ассоциирующийся с последним понтийский царь Митридат, который истекает соплями накануне *полнолуния* (признак ветхозаветной пасхи), – все эти образы читаются гораздо легче, чем «дионисийские», и вряд ли требуют специального анализа. Тем более, что замыкает их ряд самый выразительный – образ распятия, когда четверо убийц пригвозждают Веничку к полу в подъезде незнакомого московского дома.

Итак, герой Ерофеева – это трагическая жертва в ее абсолютном выражении. На такую трактовку произведения «работают» все вовлеченные в него мифы. Но этим их роль здесь и исчерпывается. Центрального смыслового момента в предании о страдающем боге – воскресения – у Ерофеева нет и не будет.

В самый последний момент перед финалом характер показа происходящего резко меняется: свет на мистериальной сцене гаснет, и читатель вместе с героем проваливается в бездну трагизма экзистенциального. Контакт с Богом нет, ангелы идиотски смеются, герою остается одна нестерпимая боль. «... с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду», – такова заключающая ремарка пятого акта.

Спустившись таким образом с неба на землю, мы можем осмотреться в поисках той психологической реальности, из которой выросла столь фантастическая трагедия. К этой

* Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923, стр. 52.

реальности нас приведет проблема трагической вины героя (ибо Веничка как подлинный протагонист трагедии отягощен своей трагической виной). Вина эта формулируется в загадках Сфинкса, не пустившего героя в Петушки. Вернее даже не в самих загадках, достаточно нелепых и алогичных, а в тех резюме, которые делает герой, выслушав каждую из них. Во всех загадках фигурируют женщины и вино, но это, так сказать, побочные обвинения, недостаточные для гибельной развязки. Подлинная же, главная вина названа первой и выражена в следующем полувопросе героя: «В туалет никогда не ходит?» В такой форме была предъявлена эта вина Веничке его соседями по общежитию. (Заметим, что эти четверо, окружившие одного, – прообразы его будущих убийц).

По сути же это комически звучащее обвинение является емкой метафорой, за которой стоит проблема непонимания и неприятия косной средой личности, одаренной высшим духовным развитием. В мире, где существовал Веничка (а также и его автор) эта бытовая ситуация была возведена в своего рода государственный закон, некогда гениально предугаданный Достоевским: «Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями...»*. Веничке Ерофееву, можем продолжить мы этот список, разбивают голову о кремлевскую стену, а затем убивают его. Что же касается автора, то спустя два десятилетия после создания шедевра личина страдающего бога обернулась для Венедикта Ерофеева его ликом, т.е. *полной гибелью всерьез*. Творческое прозрение подтвердилось.



* Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч.: в 30-ти т. Л., 1974. Т. 10, стр. 322.

Семен Лунгин

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СМЕРТИ

Говоря о том, о сем за чуть ли не – страшно сказать – полстолетия нашей дружбы, мы с Давидом Самойловым как-то договорились до Смерти.

– Нет, Смерть совсем другое дело... Во-первых, ее никто никогда не видел.

– То есть как?

– Да вот так... Не мертвецов, конечно, а Смерть.

– А когда кто-нибудь отдает концы?

– Это – умирание... А в конце концов – покойник.

– А на войне?

– И на войне то же самое. Там либо грудь в крестах, либо голова в кустах...

– У Марка Аврелия где-то сказано: пока ты живой, ты еще ее не видишь. А когда она явится, ты ее уже не видишь, потому что ты мертв... Я не о воображении говорю, а о некоей безусловности.

– Ведь ее можно представить себе, ну, как образ воздуха, что ли, или там глубины. Например, когда она начинается и где ее пределы...

– А придумать и изобразить графически или, там, живописно? Во всех подробностях?

– Но ведь это будет не она, а лишь ее знак. Иероглиф, так сказать, которым можно условиться ее изображать, точнее, обозначать.

– Вот те, что вернулись оттуда, после клинической смерти, потрясенные пережитым, ни о чем кроме бесконечного коридора не говорят или о вспышке слепящего света за каким-то там поворотом...

– И у всех, в общем-то, один и тот же образ – коридор, поворот...

– А вот кому-то когда-то пришла в голову гениальная идея – прозреть??? ее в ожившем костяке и с косой в руках. Эти вещи знакомы всем почти с сотворения мира. Образ косаря. Ощеренный скелет. Улыбка от виска до виска. Ломучесть движений. Поблескивающий в лунном свете череп... поднятая коса – нужно же выкашивать погрязшее в суете и греховности, зажавшееся человечество.

– И пластика танцевальная. Данс макабр.

– В духе Альбрехта Дюрера...

Примерно такой разговор. Запомнились образы воздуха или глубины. Улыбка освещенного лунным светом черепа, от виска до виска, изломанность движений. Весь набор ярмарочных ужасов: скрежет челюстей, лязганье зубов, цепляние костяшками пальцев за одежду, устрашающий звук точки косы, жуткий скрип онемевших суставов. Ледянящий душу хохот. Назначение срока явки на тот свет, срока уже необратимого.

Усопшего часто находят со вздернутыми, скрюченными руками, словно перед концом он отпугивал каких-то адских птиц, с раззявленным ртом, в немом, застылом крике, с несомкнутыми веками над потухшими зрачками, с извернутым костоломной судорогой телом...

Потом родственники приводят в порядок весь этот крошечный результат ее прихода: складывают руки на груди, связывают кисти, поднимают скинутую на пол подушку, смыывают со лба холодную липкость страха, подвязывают косынкой челюсть, чтобы не отвисала, кладут на веки по медной монете, чтобы утяжелить их, приглаживают вставшие дыбом волосы и все... Все!..

А покинувшая тело душа витает где-то поблизости, дожидаясь прошествия сперва девяти дней, а потом и сорока,

и подводит итоги всему, что оставляет тут в суতোлке своей живой жизни...

Почему же, вспоминая Самойлова, Дезика, как звали его друзья – такого жизнелюбивого и жизнеутверждающего, я прежде всего вспомнил наш разговор о смерти?.. Ведь Самойлов был такой на редкость гармоничный человек. Зная кое-кого из талантливых и, к счастью, реализовавшихся людей в разных сферах искусства, я никого не могу поставить рядом с ним по радостной открытости миру и готовности принять его таким, каков он есть. Всю нашу жизнь у нас на книжной полке стоит фотография, которую моя жена Лиля чудом сохранила со школьных лет. На снимке их компания восьмого класса. Несколько мальчиков и несколько девочек. Чудные лица тех времен! Среди них Дезик Кауфман. Густокурчавый плотный крепыш со сверкающими, смеющимися глазами, полными ума и серьезности. Да к тому же он поэт! Не мальчик, пишущий стихи, а поэт истинный, огромного таланта, со своим голосом, что было ясно всем с давней поры, с первых стихов. Лично мне – когда я случайно услышал – а это было сильно до войны – «Плотники о плахи притупили топоры»...

Познакомились мы с Самойловым в сороковых годах и продружили до самой его кончины. Странно, но в той жуткой жизни мы жили весело, часто встречались, шутили, выпивали, влюблялись в жен друг друга и посторонних девиц, устраивали смешные розыгрыши... Как говорится, игровая стихия была нам в высшей степени присуща. И Дезику, чуть ли не больше всех.

Зная за многие годы нашей дружбы его семью, я хорошо чувствовал еврейское начало его личности при всем ее, повторяю, чарующе-гармоническом, так сказать, пушкинском складе.

Иногда трудно было понять, говорит ли он всерьез или валяет дурака, ведет ли он себя по своему естеству или устраивает какой-то балаган, театрик для себя, посмеиваясь над нами и получая от этого большое удовольствие. Взаправду ли ему по вкусу его драповое пальто с буклевой рябью, затянутое в резкую талию, «как у учителя танцев», и берет, сдвинутый на бок, или фетровая шляпа с чуть загнутыми полями, или какая-то многоклинная с огромной пуговицей посередине – «мой гороскоп ношу с собой», яркие

галстуки или ядовитого цвета свитеры? Он ухмылялся в усы, и, чуть пришепетывая, восклицал: «Меня одевают как куколку!»

Все это оценивалось и вызывало улыбку лишь до того мгновения, пока он не начинал говорить или, еще лучше, читать стихи. Тогда он был прекрасен, это была его форма существования.

Я довольно слышал декламирующих поэтов, и своими голосами, и нарочитыми, «поэтическими», и внятно и невнятно, и громыхая, и еле слышно, так слитно, что едва можно было разобрать слова. Некоторые читали превосходно и выразительно, и ритмично, и певуче, но всегда это были декламирующие или нарочито недекламирующие поэты, которые перед чтением принимали какую-то особую позу, встряхиваясь, изгибали шеи, словно петухи перед кукареканьем. Но пожалуй никто, кроме Самойлова, не читал так доверительно-проникновенно, с таким соответствием интонации смыслу, с юмором, вслушиваясь в потаенную музыку стиха. Впрочем, быть может, это говорит во мне мое пристрастие... Он читал, никого не желая ни в чем убеждать, он просто чуть приоткрывал некий до поры закрытый уголок своей натуры и с радушием принимал тебя в свой глубокий мир, со своими видениями, людьми, пейзажами...

Так почему же, думая сейчас о Самойлове, перебирая в памяти сюжеты нашей общей жизни, в голову прежде всего пришла мысль о смерти? Быть может, потому, что он этот рубеж уже перешел и что это никак не укладывается в моей душе. Конечно, что и говорить, он навсегда останется в русской поэзии, в русской культуре и в памяти тех, кто его знал и любил. Но среди живых-то его уже нету. А смерть и даже старость так не шли к нему...

Когда Самойлов вошел в возраст, почти ослеп, а холодные токи эстонского ветра со значением обжигали его лоб, настойчиво напоминая, что конец, в самом деле, не так уж и далек, он стал помногу писать. И стихи, и пьесу, и прозу, и непременно отвечал на все письма... Он стал писать торопясь, но не то, чтобы торопливо, а чтобы побольше успеть. Несколько раз в году он наезжал из Эстонии в Москву.

– Симон, – раздавался утром низкий голос в телефонной трубке, и мы уговаривались о встрече.

Я непременно бывал на всех его публичных выступлениях, и раз от разу со стиснутым сердцем отмечал, что шаги его на эстраде становились все зыбче, а стекла очков – толще, да и рука его все чаще непроизвольно выдвигалась вперед – не налететь бы на что-нибудь ненароком...

А может быть, что мои мысли о смерти связаны с тем, что и мои годы все быстрее несутся под горку, приближая и меня к этому пределу. Да, что и говорить, уходит наше поколение, сильно побитое войной и всем тем ужасом, что захлестнул нас потом... Вот и приходит конец. И именно поэтому память все чаще устремляется к началу нашего пути, к нашим истокам, к нашим гнездам. Почему-то хочется замкнуть дугу от рождения до смерти.

Гнездо Самойлова, дух которого Дезик всегда нес в себе, я знал хорошо. Площадь Борьбы, две комнаты в большой коммунальной квартире на шестом этаже, ореховый гарнитур конца века с перламутровыми инкрустациями, люстра с зелеными подвесками...

Отца Самойлова звали Самуилом Абрамовичем. Он был врачом-кожником и работал в Областной клинической больнице, неподалеку от Рижского вокзала, который тогда еще назывался Виндавским. Лечил больных там до войны и, вернувшись, нового места искать не стал, а пришел в свою же клинику заведующим отделением. Семья Кауфманов была тихой, скромной, безо всяких претензий, и на редкость сердечной. Отец – молчаливый, сосредоточенный, как и полагается врачу его специальности. Зато мать – чрезвычайно общительная и говорливая, как птица. Во всех конфликтах своей родни она была третейским судьей, непререкаемым авторитетом. К тому же она славилась своим гостеприимством, и все дни рождений праздновались у них на площади Борьбы. Зайти к Кауфманам и уйти, не выпив чаю и не съев куса свежее испеченного пирога, было невозможно... Все это было давным-давно...

Потом Дезик переехал со своей новой семьей жить в Эстонию, в Пярну, и его наезды в Москву было как правило краткими и уплотненно-деловыми. Одного его теперь застать было почти невозможно, он был окружен свитой почитателей, которых год от года становилось все больше

и больше. Популярность и значение его росли, и каждая следующая поэтическая генерация приносила ему на благословение свои стихи. В последние годы, когда мы появлялись у него на Астраханском, там всегда уже сидел кто-нибудь из новых знакомых, поговорить на старый манер толком удавалось редко... А тут еще всегдашнее непрекращающееся застолье. Две-три рюмки, и общение уже теряло почти всякий смысл... Но дружба нас связывала удивительная. Ведь не случайно же на двух книжках стихов в дарственных надписях стояли слова: «Моим вечным друзьям...» Кроме всего прочего, это означало, что встретиться мы после сколь угодно долгого перерыва и что бы ни случилось за это время у каждого из нас, мы кидались в разговоры друг с другом так, словно расстались только накануне вечером, не договорив о самом важном...

Прошло уже несколько лет, как Самойлова не стало. Он умер завидной смертью, смертью праведника. Не болел, не мучился, а упал на поэтическом вечере в Таллине.

– Идите, ребята, мне лучше, – сказал он, едва прийдя в себя. – Идите, ничего страшного, сейчас отойдет, – гнал он столпившихся вокруг, хотя, думаю, понимал, что с ним происходит. Он ведь был очень очень проницательный, Дезик, и все понимал раньше всех, и желал в тот миг лишь одного – остаться в одиночестве, чтобы сосредоточиться и уйти спокойно. Но он еще не видел Смерти, потому что был жив.

И когда я думаю о смерти Давида Самойлова, а я теперь очень часто о ней думаю, я всякий раз вспоминаю, как умер его отец, Самуил Абрамович, и мне почему-то хочется рассказать об этом.

Тогда я еще служил в театре... Значит, тому во всяком случае около сорока лет... Господи, как летит время!..

Как-то на рассвете позвонил Дезик и сказал, что папа умер на даче, в Мамонтовке, и что там никого нет...

Я тотчас поехал. По дороге вспоминал этого милого немногословного старика. А лет ему было, наверно, поменьше, чем мне сейчас...

Я вспомнил, как когда-то на Мархлевке, где жили потом родители Дезика, отдав свои две комнаты в коммуналке молодым, праздновали какой-то день и как обычно валяли дурака, паясничали, кто во что горазд, пели всякую муру вроде дезкиной «Было у тещинки семеро зятьков...» У

меня тоже был свой номер, который проходил всегда с успехом. С невероятным местечковым акцентом, подхваченным у моей минской родни, с добавлением жаргонных словечек. Я пел в духе синагогального кантора «Во поле березынька стоя-ала. Во поле кудрява-ая стояла! Ой, вейз мир, она стояла, ой, а клёк цу мир, она стоя-ала!...» Это вызывало смех, и все бывали довольны. Хохотали и старики. Самуил Абрамович сказал, что во мне играет «а пинтеле ид» – еврейская изюминка, и стали просить, чтобы я спел еще что-нибудь в этом роде.

И вдруг меня словно подхлестнуло... У нас издавна в доме среди прочих грамофонных пластинок, еще с дореволюционных времен, была одна с еврейскими молитвами, которые пел тогдашний знаменитый на весь мир кантор. Где-то в далекой памяти моей сохранились интонация и характер мелодии. Языка я не знал и не знаю. Дома у нас не говорили на идиш. Зато я видел «Колдунью» в Еврейском театре с разбитными хасидскими песенками, с немислимой пластикой... И прямо словно кто меня толкнул в спину – я встал. И помню, долго стоял так, пока за столом не возникла какая-то удивленная тишина. И тогда я тихо-тихо начал фальцетом напевать что-то в духе молитвенной пластинки. Я произносил какие-то звуковые сочетания наподобие слов, некое звукоподражание в интонации еврейской речи с раскатистым «P-p-r!», с четким речитативом и долгими напевными руладами, с затаенной печальной яростью. И по тому, как все с напряжением вслушивались, особенно старики, которые пытались разобрать вроде бы такие знакомые слова, я понял, что мой номер удался. Пропев трагическую часть этой молитвы, я, так сказать, вошел в роль фанатичного синагогального тенора, тем более, что молитва эта была, скорей всего, отпевальная, и почувствовал, что у меня сжимается глотка, и туман застилает глаза. Я вдруг резко оборвал печаль и неожиданно не только для всех, но и для самого себя, затянул разухабистую хасидскую плясовую, вроде тех, что теперь играют в ресторанах за особую плату. Тут все заулыбались и задергались, сидя на стульях... Потом снова цезура, и словно похоронные дроги, тархтя по булыжнику, не спеша въехали в этот визгливый карнавал и прервали мои веселые вопли с выпученными глазами и большими пальцами «у жилетки»... Ликованье

жизни кончилось, пришло время расплаты за все... И снова души вознеслись к Богу, жесткому еврейскому Богу, которого нелегко умиловать... Что поделаешь, такой уж несговорчивый этот Бог...

Я замолчал. Наступила тишина. И вдруг раздался дезикин голос:

– Папа, ну перестань... Ну что ты, в самом деле, ведь это дурачество, шутка!..

Самуил Абрамович виновато улыбнулся и повернул ко мне мокрое от слез лицо. Он был искренне смущен от того, что поддался минуте слабости и давние глубинные волны выплеснулись ненароком наружу, на всеобщее, так сказать, осмеяние. Но никто не смеялся, наоборот, все были расстроены.

– А что ты пел? – спросила взволнованная Цецилия Израйлевна.

– Ничего, просто так, – ответил я.

– А на каком языке? На арамейском? – спросил Самуил Абрамович. – Все слова какие-то знакомые, но ничего понять нельзя.

– Да ни на каком. Это просто звуки.

– Удивительный вы народ, – сказал кто-то из неевреев.

– Просто звуки, а старики плачут...

Потом меня много-много раз заставляли петь эту «еврейскую песню», как ее с тех пор называли. Все уже было отрететировано, звучало лучше, искуснее, но такого впечатления, как в тот первый раз, уже не было. Хоть у стариков всегда затуманивались глаза...

Вот это я и вспоминал по дороге на дачу, где лежал покойный Дезиков отец.

А назад в Москву мы ехали на грузовике. Дело было в воскресенье, и вызвать перевозочную машину из районных учреждений оказалось, как и все в нашей жизни, невозможным. Повезло, что случайный шофер решил подкалымить и повез. По дороге наломали хвойных лап, уложили Самуила Абрамовича поаккуратней, сверху пикейное одеяло, а на него тоже насыпали хвои, на случай, если кто заглянет в кузов. Мало ли...

... Остановились у Приемного покоя.

Шофер вдруг стал нервничать.

– Давай-давай, выгружать! – визгливо торопил он.

– Куда?

– Куда хочешь... Давай в темпе... Мне ехать пора. Верно, что нельзя с вашей нацией дела иметь... Понятно говорю? Рассчитывайтесь со мной, и меня тут и не было...

Возле Приемного покоя стояла обычная бульварная скамья. Шофер, оглянувшись по сторонам, откинул борт, и я с ним, надрываясь, стали вытаскивать несчастного Самуила Абрамовича... Почему-то тяжесть показалась неимоверной, тело просто вырывалось из рук. Шофер, стараясь не глядеть на покойника, сказал устрашающе:

– Учти, если номер запишешь или еще там какие фокусы – дачу спалю.

Пока я старательно укладывал хвою на одеяло, грузовик газанул и только его и видели.

И мы с Самуилом Абрамовичем остались вдвоем в воскресный день ранним утром у дверей Приемного покоя Областной клинической больницы...

Я долго колотил в дверь, пока заспанный санитар не отворил щелочку.

– Чего?

Я объяснил и показал на скамейку. Дверь тотчас захлопнулась и было слышно, как накидывают для безопасности железный крюк. Снова принялся я колотить в дверь. В утренней тишине больничного двора мой стук раздавался, как начало погрома. Вдруг из-за домика, видно, из другой двери, появилась фигура в накинутом на плечи ватнике.

– Чего надо?

Торопясь, я принялся излагать свою просьбу.

– Гляди, – санитар указал на стеклянную вывеску возле двери. – Ему спешить некуда. Мы здесь для живых. Ничего что, воскресенье? Они, значит, с девяти. Вот ихние работники придут, возьмешь у них каталку и отвезешь.

– Куда?

– На кудыкину гору... В морг!..

– Пожалуйста, дайте каталку. Я мигом отвезу, а вас отблагодарю. Пожалуйста... – мне казалось, что вежливость – универсальный ключ.

Санитар, ни слова не говоря, повернулся и ушел за домик. Потом загредел крюк, дверь отворилась и сразу же за дверью я увидел вожделенную каталку.

– Ну неужели жалко дать. Что бы я с ней сделал? И никто бы не узнал.

– А вы зря не разговаривайте, молодой человек. Давайте, что хотели. А то ведь я и передумать могу. Вот не войду в ваше положение, и все.

Я затормошился, зашарил по карманам, нащупал, что надо, и протянул санитару.

– Войдите, войдите, пожалуйста, в мое положение... – У меня прямо кровь отлила от сердца. – Хватит? – с тревогой спросил я.

Санитар внимательно разглядывал бумажку.

– Да разве этого добра когда хватает? Обеднели, что-ль, все? Документ давайте.

– Какой?

– Свой. Э-эх, дети. Сдадите каталку – верну.

– У меня нет с собой ничего, – сказал я сразу севшим голосом.

– Ты что, со мной шутки шутишь? – сказал санитар с яростью в голосе. – А ну, выходи из Приемного... – и он начал наступать на меня, вытесняя из коридорчика.

– Подождите-подождите, – чуть не закричал я. – Ведь неудобно же получится. Около вас на уличной скамье лежит мертвый человек.

– Неудобно знаешь, что бывает?

Тут меня осенило. Я торопливо начал стаскивать куртку. Утренний холод прошиб меня насквозь.

– Вот залог. Возьмите куртку. Привезу каталку – вернете. Она подороже стоит, чем эта железка.

– Закурить есть?

Я кивнул. У меня отлегло от сердца.

– Берите все.

– И на том спасибо. Нищие дети, честное слово. Вот до чего дело дошло... Морг – там. – Он указал на бетонное здание, похожее на заводской цех...

Я подкатил каталку к широкой двери, когда оттуда выглянула видимо только что пришедшая дама в очках.

– Что везете?

– А что сюда возят? – ответил я устало. – Покойника везу.

– А каталку где взяли?

– Где надо, там взял. – Во мне снова закипала злость.

- А вы не грубите. С вами вежливо говорят.
- Куда везти, лучше скажите вежливо.
- Подождите, не спешите. Здесь спешить уже поздно. Документы дайте.
- Какие документы?
- Как какие? Справку о смерти.
- Так ведь вот он.
- А кто знает, что он мертвый... Повторяю, справка есть?
- Вот, из мамонтовской поликлиники.
- А из милиции? Что вы ему не помогли на тот свет отправиться.
- Да что вы такое говорите? – меня прямо передернуло от ужаса.
- Много таких случаев. Могу рассказать.
- Я не знал, что из милиции надо, – решительно сказал я и развел руками.
- В таком случае мы его не возьмем, – сказала дама, поворачиваясь, чтобы уйти.
- То есть как? – я готов был рычать от отчаяния. – Это отец моего друга. Да вы его, наверно, знаете, это ваш врач, доктор Кауфман.
- Я, кажется, вам уже объяснила, молодой человек, без акта из милиции принять не смогу.
- Его же здесь все в лицо знают. Заведующий кожным отделением...
- А по мне хоть заведующий Красной площадью, – тараторила она, ничего не слыша, ни во что не вникая. – Акт есть – давайте, нет? – нет!
- Послушайте, – сказал я. – Сейчас вам просто станет стыдно. – Я откинул с головы Самуила Абрамовича угол пикейного одеяла и еловую ветку.
- Боже, так ведь это Кауфман! – воскликнула она, изменившись в лице и как бы возвращаясь к реальности. – Да что это вы надумали?... Самуил Абрамович... Ладно, возьму грех на душу, давайте справку.
- Я протянул ей бумажку. Она внимательно ее прочла, шевеля губами, и все человеческое вновь стерлось с ее лица.

– Это же областная справка. А Кауфман прописан где? в Москве. А справка должна быть с места прописки. Нет, ничего поделаться не могу. Я не смогу его оформить как положено.

– Что значит «как положено»?

– Записать соответствующим образом. Необходимо идентифицировать документ и покойника.

– Но вы же его узнали?

– Лет пятнадцать работаем вместе. Он поразительно сохранил свой облик. Смерть пощадила его.

– За чем же дело стало? Вы же интеллигентный человек...

– Вы моей интеллигентности не касайтесь!.. Дело за справкой. Любая проверка может заподозрить меня Бог знает в чем.

– Ну, в чем, например?

Говоря это, я потихоньку вдвигал каталку в помещение морга. Вот вдвину, решил я, на всю длину, и брошусь бежать прочь. А куртка? Черт с ней.

– Не надо, не надо, не самоуравничайте, – заметила регистраторша мой маневр. – Давайте все решим мирно, деликатно. Покойник был такой деликатный человек.

Я снова стал приходить в ярость.

– А что бы подумал этот деликатный человек, если бы слышал все, о чем мы с вами говорим? Вот получил бы удовольствие.

– Морг – режимное учреждение, и подчиняется оно не больнице, а еще кое-кому... – зашептала она. – Я надеюсь, это между нами... У них очень строгий учет всей документации... Аркадий Михайлович! – вдруг с облегчением воскликнула она. – А вот и наш заведующий.

К дверям приближался почтенный господин в годах.

– Доброе утро, товарищи, – бодро приветствовал он нас. – С хорошим днем.

– Аркадий Михайлович, – перебила его регистраторша. – Этот гражданин доставил нам тело скончавшегося доктора Кауфмана.

– Ой-ой-ой! Кто бы мог подумать! Он так неплохо выглядел последнее время... Да, Самуил Абрамович, да... Применительно к смерти мы все в одном положении, – заведующий паталого-анатомическим отделением печально взгля-

дывался в лицо покойного. – Только одни скончались, а другие еще нет. Непреложный закон природы! – воскликнул он со вздохом. – Где его документы?

И все началось сначала.

Конечно-конечно, ему бы не знать Кауфмана, он с ним полжизни проработал, но инструкция есть инструкция. Это же служебное преступление. Нет-нет, это решительно невозможно...

Я зажал себе рот ладонью, чтоб не завывать в голос...

Конец этой истории у меня в тумане. Я хватал такси, гонял в районную поликлинику и милицию. Всюду что-то доказывал, а Самуил Абрамович лежал на каталке перед дверью морга...

Наконец, я отвез каталку в приемный покой, но там уже произошла смена. Куртка моя висела на гвозде. Я подошел к ней и хотел было взять, как хорошо выпавшаяся санитарка остановила меня.

– Цыц!

– Это моя куртка.

– Я у вас ее не брала.

– Тут до вас товарищ был...

– Вот у товарища и получите.

– А когда он будет?

– Значит, что сегодня? Воскресенье?.. Так... Понедельник, вторник... В среду.

– Ясно, – сказал я, понимая, что спорить бесполезно.

– А потом еще кто-нибудь заявится, скажет моя...

– Все в порядке, все в порядке, – замахал я руками. – Успокойтесь...

– Его, видишь ли! – продолжала заводиться она. – Тут охотников набегит омет, только свисни... Куртка, видишь ли, его... Вынеси ее на Крестовский рынок...

Оценив свою полную несостоятельность, я, ни слова не говоря, повернулся и почему-то побрел к моргу. Так, видно, преступники возвращаются на место преступления.

Беспрепятственно прошел я в широкие двери и спустился по пандусу в подвал, и пошел по коридору. Серый сумрак наполнял помещение. Солнца будто бы и не было... Бетонный гулкий пол, бетонные тупые стены, железные двери. Впечатление ада. Казалось, что должен еще раздаться от-

куда-то душераздирающий хохот... Но была тишина... А может быть, это скорее похоже на коридор того самого учреждения, кому подчиняется морг?

Куда же они дели Самуила Абрамовича? Я остановился у ближайшей двери и приоткрыл ее. Из узкого окошка сочился дохлый свет. Я пригляделся – никого нету. Пустые бетонные нары и подвальный холод. Ужас!.. Я приоткрыл другую дверь – ничего, третью – пусто. Но нет, в уголке нижней нары что-то маленькое виднеется, какая-то закорючка, светлее, чем бетон.

Я подошел, вглядываясь. Меня начало как-то трясти. То ли от холода, то ли еще от чего. Пройдя несколько шагов в сторону нар, я понял, что это крошечный человечек, трупик, величиной с мою ладонь, скрюченный, заоченелый, голый. Ох! У меня упало сердце... И стало ясно – вот она, смерть. Это она! Я ее вижу! Ни «уже», ни «еще», а вот она самая. Она только родилась, эта смерть, и еще не выросла до той, что ходит с косой. Но вырастет, можно не сомневаться. Ее повернутое ко мне личико с ужасной, вроде бы застылой улыбкой, оповещало меня об этом. Я попятился, вышел и прикрыл беззвучную дверь... С тех пор бессчетное число раз являлась мне она во сне. И всегда он один и тот же: сиреневый сумрак, тишина, и тоненький частый стук, будто кто-то маленьким пальчиком стучит в дверь... И не показывается, а все стучит и стучит... И я твердо знаю, что это она напоминает о себе. Вот, мол, я тут, рядом...



Зиновий Зинник

ЛИЦО ЭПОХИ

Детство мое предстает перед моим внутренним взором как бы в двойном свете. С одной стороны, это – свет коммунизма, слов оптимизма из постоянно включенной радиоточки. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ритмичное шуршание упругих велосипедных шин на раскаленной в летний полдень асфальтовой дорожке. Блаженный дух горячих бубликов и вареной картошки с селедкой по воскресеньям. Пионерский галстук шибает в нос горячим утюгом, под щекотку накрахмаленной белой рубашки: их только что выгладила мама – снова в школу после летних каникул в пионерском лагере. Сердце стучит от предвкушения встречи со школьными товарищами: кто из нас стал выше ростом? Холодок бежит за ворот. Перезвон трамваев такой же радостный и резкий, как у бокалов шампанского или как запах апельсиновой корки под новый год. Хруст тополиных сережек под подошвой начищенных ботинок. Переключка наших голосов на заднем дворе, где мы с верными друзьями гоняемся за бродячей кошкой у сараев с помойными баками. Как она шипит, ощерившись, и хвост трубой, когда мы окружаем ее плотным кольцом: у каждого камень в кулаке, а в горле сладкий комок от майского воздуха, заглотанного на бегу. Сейчас

она задержается беззвучно, забитая насмерть градом камней. Струйка пота осторожно прокладывает себе путь по спине между лопаток. Как заслуженный отдых старого большевика, сонный полдень за школьной партой, когда хрестоматия выпадает из рук под монотонный повтор цокающих копыт, учительского наставления и клича старьевщика за окном: «арьё-ерём!» Все это старье я беру в свое светлое будущее.

Но параллельно этому безоблачному советскому раю существовал в моем детстве и мир иной – мир теневой, потаенный, магический. Этот мир возникал у нас на пороге, увенчанный тиарой рыжих кудрей тети Ирены. Они струились бесконечными завитушками на ее голые плечи, как будто спешили в смущении прикрыть глубину декольте ее черного муарового платья: такого же черного, что и глянцевиная звездная ночь на пакете-жакете грампластинки у нее в руках. С этого сияющего целлофаном черного квадрата зарубежного производства глядело на нас зеркальное отражение тети Ирены: с папиросой в алых губах, она как будто плыла на золотом руне своих волос над космической бездной, где дым растворялся в звездной пыли. Отец принимал это грампластинное чудо из рук тети Ирены, как первые советские эмигранты брали в руки выездную визу: это было вещественное доказательство иного мира. Пока он накручивал ручку патефона, все наше семейство рассаживалось вокруг стола под зеленым абажуром. И крымский портвейн, перелитый в хрустальный графин, разбрызгивал багровые отсветы по парчовой скатерти с бахромой, и зеленые кольца от абажура, обрамляющие каждый бокал, были не более чем бутафорией и театральной рампой – для золотого руна волос тети Ирены. Я вижу ее, подпирающей подбородок, с папиросой «Герцеговина-Флор» в алых губах: она слегка щурится – то ли от папиросного дыма, а может быть и от того, что слишком пристально вглядывается в бездну черной дырочки грампластинки, стараясь различить там неведомые нам, обыкновенным смертным, нездешние образы. Она таинственно улыбается самой себе, как дама с пластинки. Но вот зашипела патефонная игла, и из-под зеленой бездны абажура начинают литься блаженные звуки загадочных слов. Какой это был из иностранных языков, я сказать не могу. Мои

детские познания в географии сводились к тому, что центр земли – это Красная площадь. Мне кажется, что эту завораживающую смесь гортанных щебетаний с напевным клеточком я больше нигде и никогда в жизни не слышал. Был ли это хорватский или мальтийский? Тибетские или каталонский? Главное, этот язык не имел никакого отношения к нашему заурядному советскому словоизъявлению.

"Иренка, солнышко, мы ждем», очнувшись от восторженной дремы, шепотом напоминает ей мама. Тетя Ирена, как и ее двойник с глянцевого грамофонного пакета, была существом нездешним: она знала иностранный язык, то есть – была допущена в иные миры. Она медленно обводит стол удивленным взглядом, как будто видит всех нас впервые. Тряхнув золотым руном волос, она, как бы возвращаясь к нам, в подлунный мир:

«Разве мыслимо перевести на русский эту божественную простоту? Ведь поэзия – это то, что теряется в переводе», отвечает она себе самой, в сомнении качая головой. «В этой песне нет ничего, что напоминало бы наш депрессивный быт. Другой словарь. Красота, Любовь, Свобода. Слова, чуждые нашему убогому и фальшивому существованию!» Она гасит папиросу, беспощадно кроша в пепельнице недокуренный табачный патрон.

«Почему фальшивое? Почему убогое?» ерзя на стуле, всплескивает руками ее муж, дядя Аркадий. «Мы август неплохо провели на берегу Черного моря. Цыплята-табака. Вот портвейн крымский. Патефон, опять же. Слава богу, икра. Мы, заметь, ни в чем себе не отказываем». В ответ тетя Ирена лишь надменно, как светская дама веером, подрагивает густыми ресницами.

«Не скрипи стулом, Аркадий», пользуясь случаем поддеть деверя, говорит мама.

«Фальшивое и убогое существование», – как припев, повторяет тетя Ирена – эхом голосу с пластинки. Она, на этот раз по-бунтарски, как лошадь гривой, встряхивает копной кудрей и перекладывает ноги в чулке со стрелочкой с колена на колено. Отец отводит взгляд, тяжело вздыхает, вскакивает из-за стола и начинает яростно накручивать ручку патефона.

«Это у тебя желудочное, Ирена», выносит безапелляционный приговор дедушка. Все на свете беды – от египетского фараона до немецкого фюрера – коренились, по его глубокому убеждению, в несварении желудка. Желчность человека он воспринимал буквально, то есть как желудочный переизбыток желчи. По профессии заурядный лекарь, он всю свою жизнь простоял за аптечным прилавком, но в душе считал себя гением фармацевтики, нечто вроде средневекового алхимика; все свободное время он посвящал изготовлению универсального средства против желудочных заболеваний. Новоизобретенные рецепты (известные в кругу домашних как *микстум-пикстум-комполитум*) опробовались в первую очередь на бабушке и нашей таксе. Вскоре такса сдохла (это трагическое событие, по моим теперешним подсчетам, совпало со сталинским делом врачей), и соседи шептались, что собаку уморил своими аптекарскими экспериментами дед. Бабушка яростно опровергала эти слухи, указывая на то, что сама она, как видите, жива-здора и кушает компот, несмотря на то, что наглotalась за свою жизнь дедовского микстум-пикстум-комполитум не меньше нашей таксы, сдохшей просто-напросто как жертва эпидемии бешенства, свирепствовавшей в тот год в Москве.

«Какая разница: яд или бешенство?» отбрасывала со лба червонные кудри скептическая тетя Ирена. «Очевидно одно: даже собака не может смириться с фальшью и убожеством нашего существования».

«Подумаешь, мы можем нового пуделя себе купить, если понадобится. Или болонку. Мы ни в чем себе не отказываем», обиженно пожимал плечами дядя Аркадий.

«Нельзя прививать ребенку такой мрачный взгляд на действительность», поддерживала дядю Аркадия мама, а бабушка тут же пользовалась случаем подложить мне еще одну порцию сырников со сметаной: несчастье, по ее мнению (а разногласия по любому поводу она считала несчастьем) надо заедать калорийной пищей. Я ненавидел сырники со сметаной и обожал золотое руно тети Ирены; мрачный взгляд на действительность вообще и смерть нашей таксы в частности извиняли отсутствие аппетита и служили поводом отказаться от сырников, и поэтому я демонстративно разделял пессимизм тети Ирены, хотя и

был в душе неискоренимым оптимистом. В душе я считал, что живу в самой счастливой стране на свете, и всякий раз поражался отцу, когда он подсаживался к тете Ирене с одним и тем же вопросом:

«Скажи, Иреночка, ну что же это такое – граница? Ну как там все выглядит? Улицы? Люди? Дома?» Он задавал этот вопрос несчетное число раз, с энтузиазмом ребенка, вымаливающего у родителей одну и ту же сказку перед сном. И тетя Ирена замедленным, как в сновидении, жестом закуривала еще одну папиросу и, прищурившись – то ли от дыма, то ли от мгновенной яркости воспоминания о потерянном рае, повторяла, как стихи, всякий раз одно и то же:

«Ну что тут сказать? Где взять точные слова? Если бы свободу и счастье, красоту и любовь можно было бы пережить, описав их словами, не нужны были бы ни свобода, ни счастье, ни красота, ни любовь, не правда ли?» И она устремляла затуманенный взгляд на слезящееся окно, поросшее февральской оттепелью. «Как отделить себя словами от праздника, который всегда с тобой? Бесконечное разнообразие обычаев, костюмов и лиц. Обилие предметов широкого потребления. Ты сидишь за столиком уличного кафе, а весь этот радостный, пестрый, многообразный мир кружится вокруг тебя. И ты начинаешь кружиться вместе с ним». Она подымалась из-за стола: туфли на шпильках, чулки со стрелочкой, муар в обтяжку с глубоким декольте. Золото ее кудрей, рассыпавшихся по голым плечам, казалось мне снизу, при моем мальчишеском росте, восходящим солнцем, когда она, нагнувшись ко мне, подхватывала меня на руки и начинала кружиться со мной по комнате. И папа приглашал маму, а бабушка – бабушку. Только дядя Аркадий сокрушенно качал головой в сторонку и бурчал: «Ну и что? У нас тоже есть места публичных развлечений. Как насчет нашего ЦПКиО?»

Эта идиллия, однако, длилась не вечно. В один прекрасный день тетю Ирину увезли на автомобиле неизвестно куда. «Куда увезли тетю Ирину?» спросил я. «Это у нее желудочное», пояснил мне дедушка. С ней произошло нечто такое, о чем взрослые шептались по углам; при моем появлении они замолкали или начинали изъясняться загадочно-

ми намеками. Порой все же дело не ограничивалось намеками. «Она поставила под угрозу репутацию всей нашей семьи в глазах советской общественности», хватался за голову дядя Аркадий. «В нашу эпоху подобное может произойти со всяким», сокрушенно бормотал папа. «Ты еще скажи: в ее моральном облике повинны фальшь и убожество нашего существования», язвительно отвечала ему мама. «Уважающий семейные связи индивидуум не пошел бы на подобную преступную связь», вторил ей дядя Аркадий. «Ты, вроде, тоже себе ни в чем не отказываешь», пронзал его гневным взором мой отец. Имя тети Ирены было явным табу несколько месяцев, пока не стало известно, что, вдали от мирской суеты, как я полагал – за границей, в стране звездных бездн с граммофонной пластинки, она приняла некое судьбоносное решение, не проконсультировавшись с родственниками. Этот шаг вызвал в семье ожесточенные финансовые споры.

«Мы ни в чем себе не отказываем, но надо и совесть иметь», скрипел зубами дядя Аркадий.

«Совесть, Аркаша, твоя супруга растеряла в вояжах по заграницам», поддакивала ему моя мама. «Зато подхватила еще кое-что».

«Посочувствовали бы: она была на волосок от смерти», возмущался отец.

«Длинный же у нее волосок оказался, извините за каламбур. Эти ее золотые кудри нам недешево обойдутся», мрачно заключила мама. Эти зловещие намеки взрослых на недостойное поведение тети Ирены не изменили моего отношения к ней, потому что она была для меня самой поэзией, и, как в поэзии содержание тождественно форме, так и ее моральный облик был для меня тождественен ее внешности. По ночам во сне я плыл за этим золотым руном, волны то вздымали меня ввысь, то тянули в пучину, пока я не понимал, что эти волны и есть те самые кудри тети Ирены, то самое золотое руно моего сновиденческого паломничества за тридевять земель – оно у меня под рукой: тугое и одновременно воздушное, выносящее меня к заветному берегу.

Но когда тетя Ирена возвратилась, наконец, в родные пенаты, и я вновь воочию увидел эти кудри, они как будто

утеряли для меня тот прежний лисий блеск, гипнотический лоск моих сновидений. Они стали зато гораздо богаче, гуще и пшеничней, как советский урожай зерновых на плакате. По старой привычке она все так же меланхолично отводила локоны со лба, но ее пальцы теперь то и дело нервно теребили волосы, как будто проверяя, все ли на месте, не украден ли тот или иной колосок из ее закровов. Возвращение тети Ирены из «заграничной командировки» было как пробуждение: столь же неожиданным для меня, как и ее исчезновение. Она, как и ее волосы, была прежней, и одновременно другой. Или же я за эти несколько месяцев превратился из малолетнего в подростка и стал смотреть на нее иными глазами? Она все еще одевала по вечерам муаровое платье с декольте, но эти черные колера стали смотреться как траур – неизвестно по кому.

«Сколько денег угрохали впустую. Выбросили на ветер», всплескивал руками дядя Аркадий, прихлебывая мамин борщ. Он все чаще питался у нас, потому что тетя Ирена перестала заниматься таким пошлым и суетным делом, как домашнее хозяйство. «Это у нее желудочное», утешал нас дедушка. Во время семейных торжеств она выглядела сонливой и рассеянной. Она молча сидела перед нетронутой рюмкой портвейна и больше не пыталась отыскать слова для бесконечного разнообразия обычаев, лиц и предметов ширпотреба за границей. Она больше не приносила нам пластинку с глянцевицей красавицей, и отец больше не крутил ручку патефона. Он лишь внушал ей часто что-то такое строгим голосом. Мы больше не кружились всем семейством в танце. Иноземное щебетание доносилось лишь иногда из ее комнаты, куда она утаскивала наш патефон и сидела там одна, полуодетая, перед зеркалом, расчесывая свои волосы с такой остервенелостью, что казалось, кудри распрямятся навсегда. Порой мне казалось, что она перетряхивает эту роскошь исключительно ради меня. Однажды, однако, я увидел сквозь полуприкрытую дверь, что перед ней стоит отец, перебирая ее волосы в своих ладонях. Я слышал его глухой голос, но не мог разобрать ни слова. Она, заметив меня в дверях, поманила к себе и, склонив голову, дала мне дотянуться рукой до шелковистой волны, где я столь часто тонул во сне: «Пощупай», и она запускала мои пальцы еще глубже в золотую гриву ее

волос. «Нравится? И не страшно? Ты не боишься правды?» Я не понимал, чего она от меня хочет. Я дрожал непонятно от чего. Папа, безнадежно махнув рукой, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Тетя Ирена еще крепче прижала мое лицо к своим волосам: они пахли не пшеницей (чем пахнет пшеница?), а ромашкой или звездной пылью. «Правда, мой мальчик, бывает ведь страшной и некрасивой. Не боишься?» Если бы я и боялся правды, все равно не смог бы выразить свой страх словесно: мои губы уже утопали в кудрявом раю. Я лишь дрожал, но отнюдь не из-за страха. В этот момент в комнату ворвалась моя мама и вытащила меня за дверь, крикнув при этом то ли отцу, то ли тете Ирене: «Ты что, хочешь, чтобы мальчик остался на всю жизнь травмированным?»

Эта загадочная для меня угроза психической травмы стала повторяться в каждую эпохальную дату отечественной истории. К тому моменту я стал мальчиком нервным и мнительным, потому что шепот по углам и неясные для меня намеки с экивоками в поведении взрослых заставляли меня все время быть начеку: меня приучали угадывать потаенный смысл даже там, где его, может быть, и не было. Недаром, скажем, день смерти Сталина интриговал меня именно тем, что в ту траурную дату по всей стране объявили минуту молчания: а я уже из опыта семейной жизни знал, какую значительную роль играют паузы в разговоре. Мне пообещали, что на целую минуту страна замолкнет, застынет, замрет. Замрут фабрики, замолкнут трамваи, застынут на месте пешеходы. Я вышел на улицу заранее: чтобы не пропустить этой магической минуты, когда у тебя на глазах все живое на земле превратится в мертвое, а через мгновение вновь оживет. Как будто ты увидел со стороны, как наступает и конец света, и воскрешение мертвых. Однако увидеть это мне было не дано. Я твердо помню, что минута молчания застала меня на углу Октябрьской улицы. Я, без всякого сомнения, пребывал в этой минуте: когда замолкли фабрики, трамваи остановились, пешеходы застыли у светофора. Но все это не осознавалось мной как минута молчания. Мне не удалось переселиться в это мгновение в потусторонний мир. В это мгновение я ругался с газировщицей на углу. Она как ни в чем не бывало продол-

жала отпустить газировку, явно игнорируя неминуемое приближение минуты молчания. «Из-за вас минута молчания может оказаться под угрозой», сказал я угрожающе газировщице. Я предвидел, что она не остановится в разливе газированной воды в стакан (чтобы в течение этой минуты не испарился весь газ из стакана), газированная вода будет шипеть и булькать, нарушая, тем самым, минуту молчания. Но минута молчания, видимо, потонула не в шипении газировки, а в ее матерщине, когда она стала меня посылать куда подальше со своей минутой молчания. А может быть, траурные заводские гудки я принял за автомобильные, а всеобщая остановка транспорта совпала с красным светом светофора? Так или иначе, минуту молчания я пропустил, проглядел, прошляпил.

Я вернулся домой весь в слезах. И сразу понял, что в нашем доме минута молчания принципиально игнорировалась. Дом был полон шума и звона: тут царил богохульственная атмосфера семейного праздника. На столе, на скорую (бабушкину) руку было сварганено целое пиршество. Дымилась народным энтузиазмом вареная картошка, плялилась удивленно сквозоз интеллигентские очки лука селедка, рдела, как от восторженного смущения, красная икра, отмокала на салфетке будущей хрущевской оттепелью замороженная бутылка водки. И вот уже летела пробка шампанского в потолок, и взрослые сводили со звоном бокалы, поздравляя друг друга со смертью «этого усатого таракана». Дядя Аркадий пытался, правда, произнести речь насчет верности коммунистическим идеалам и ленинским нормам партийной жизни, искаженных сталинизмом. Но отец не дал ему договорить, во весь голос затянув из «Риголетто»: «О, тираны, исчадь порока».

Я был так напуган этим неуместным ликованием, что жался к коленям тети Ирены: она была единственной в семье, кто не разделял этой богохульственной экзальтации в связи со смертью вождя и учителя всех времен и народов. Не потому ли на ней не было уже ни муарового платья с декольте, ни чулков со стрелочкой, ни туфель на высоких каблуках. Ее вытянувшуюся с годами шею заключал ошейником высокий воротник на пуговичках. В этом одеянии она выглядела как в футляре из-под очков. Она, казалось, соблюдала свою собственную минуту молчания, со скорб-

ной индифферентностью созерцая, как остальные члены семейства с инфантильной безответственностью расстреливают потолок пробками из-под шампанского. Когда же все понемногу утихомирились, отец подсел к тете Ирине и пытался настроить ее на более оптимистический лад, пробудить к ней интерес к общественной жизни в связи с рухнувшими темницами и монументами сталинизма.

«И на обломках самовластья напишут наши имена», продекламировал дядя Аркадий для пояснения, заев при этом шампанское бутербродом с кильками. «Поэт был чертовски прав! Мы не должны отказывать себе в празднике».

«Разве смерть одного человека может духовно освободить всю страну от внутренней фальши? как насчет темниц нашей души? подвалов нашей совести?» риторически вопрошала тетя Ирина с пессимизмом и отрешенностью отвергнутого оракула, не поддаваясь гипнозу всеобщего оптимизма.

«А тебе нужно, чтоб все Политбюро передохло? Ха!» хватался за голову дядя Аркадий. Но тетя Ирина игнорировала эти провокационные заявки. Подобные сцены стали повторяться на каждом этапе послесталинской оттепели. Даже Двадцатый съезд с разоблачением культа не произвел на нее особого впечатления.

«Неужели ты не чувствуешь, как преобразается на глазах лицо нашей родины?» недоумевал дядя Аркадий. «Ты должна признать, Ирунчик, что мы, наконец, изжили в себе культ, затмевавший сознание миллионов». В ответ тетя Ирина, отведя изможденным жестом прядь потускневшего золотого руна, говорила:

«Что мне за дело до сознания миллионов? Как насчет личных секретов в мрачных подвалах нашей памяти?»

«В смысле мнений мы уже ни в чем себе не отказываем», не унимался дядя Аркадий. «Ты не будешь отрицать: наша семья наконец-то избавилась от страха».

«Семья? Избавилась? От страха?» язвительно переспрашивала тетя Ирина и устремляла прищуренный взгляд на отца. Мать тоже пыталась перехватить отцовский взгляд, дотрагиваясь пальцем до виска, и глазами косясь на тетю Ирину. Отец во время подобных споров обычно почему-то помалкивал, но тут его прорвало:

«Чего хочешь, Ирена? Чего ты от всех нас хочешь? Ты хочешь разрушить семью?» Тетя Ирена подымалась с кресла, но мама бросалась ей наперерез:

«Ты не понимаешь, Мишенька», обращалась мама к отцу плаксивым голосом маленькой девочки и, заискивая улыбаясь, брала под руку тетю Ирену, стараясь увести ее из комнаты: «А ты, Иришкин, ну зачем ты так? Ну пожалуйста. Не делай этого. Умоляю. Ради ребенка. Ты же не хочешь, чтобы он остался травмированным на всю жизнь?»

«Отнюдь», отвечала маме тетя Ирена, аккуратно высвобождаясь из маминых объятий. «Именно ради наших детей мы и должны покончить с этим лицемерием, с этой внутренней фальшью, с этими позорными шарадами нашей совести». Она нагибалась ко мне, брала в ладони мое лицо и, заглядывая мне в глаза, спрашивала: «Ты меня любишь? И такую любишь? А правду хочешь знать?» Я отрицательно мотал головой, помня вопли мамы о детских травмах. «Если узнаешь правду, не разлюбишь?» спрашивала она в наступившей зловецей паузе семейной перебранки, где родственники, застывшие в напряжении, были отделены от нас зеленым (уже не уютным, а потусторонним) светом абажура.

Я тоже боялся шевельнуться. Я не хотел знать ее секрета. Я считал, что секреты надо держать при себе. Так интереснее. Совершенно неважно, в чем заключается секрет; так в детстве мы закапывали на заднем дворе в землю разную мелочь и ерунду и закладывали ямку осколком стекла: под этим стеклышком любой мусор из разноцветных конфетных оберток или камешков выглядел как настоящий клад. Мне, естественно, было страшиновато присутствовать на семейных разбирательствах, со всеми этими паузами и недомолвками, подмигиванием и шепотом по углам, но зато я был свидетелем того, как «позорные шарady нашей совести» превращают тетю Ирену во всемогущее существо: перед ней заискивали все, стараясь угадать, что у нее на уме. Недаром они постоянно допытывались у нее: «Чего же ты хочешь?» Она была обладательницей заветного секрета, семейной тайны. Чем дольше пытались угадать этот секрет от меня, чтобы «не травмировать ребенка на всю жизнь», тем запутанней закручивалась интрига их раз-

говоров и, как я догадывался, их отношений. Чем нелепей и загадочней секрет, тем интереснее и труднее его скрывать: тем больше историй необходимо, чтобы отвлечь внимание собеседника.

Возможно, под влиянием всей атмосферы в доме у меня самого появились свои секреты, нуждающиеся в сокрытии. По этому случаю мне приходилось изобретательно врать родителям. Не всегда, впрочем, слишком изобретательно и не всегда для того, чтобы скрыть секрет. Я, попросту говоря, стал врать без всякого повода, без особой цели и особой логики. Я стал, короче, патологическим вруном. Помню, сижу перед телевизором и жую апельсин. «Ты что жуешь?» спрашивает отец, войдя в комнату. «Яблоко», говорю я не сморгнув. «Зачем ты врешь?» спрашивает отец. Я не знаю, зачем. Чтобы, видимо, не говорить правду. «Я не вру», говорю я ему в ответ. «Зачем ты врешь, что ты не врешь?» говорит отец, указывая на апельсиновые шкурки на столе. Я вру, что я не вру, видимо, для того, чтобы не сказать правду: а именно – что я соврал насчет яблока. Я не хочу правды. Всеми силами ей сопротивляюсь при каждом удобном случае. За это сокрытие секрета, порой мне самому неведомого, отец меня наказывает ремнем.

Была у меня, однако, одна подростковая страстишка, и уж ее-то я упорно держал в тайне от своих антисоветских родителей вполне сознательно. Это была страсть к парадам и праздничным шествиям, митингам и демонстрациям. Особенно, конечно же, к демонстрациям на Красной площади. Официально туда можно было попасть, присоединившись, скажем, к колонне представителей трудящихся с отцовской фабрики грампластинок. Но отец, с его антисталинскими настроениями, всеми правдами и неправдами и больничными бюллетенями умудрялся уклониться от участия в шествии. Так что мне приходилось с моими товарищами изворачиваться самому и пробираться к светлому будущему на Красной площади по-ленински – своим путем. Город был перекрыт по всем направлениям от Трубной площади, все ходы и выходы, все переулки и проезды были оцеплены нарядами милиции: на Красную площадь можно было попасть лишь по списку. Но мы знали каждый проход-

ной двор, каждую крышу, через которую можно перескочить на другую сторону улицы, а потом, по стене, соединявшей два двора, выскочить, обведя вокруг носа все милицеские кордоны, к гаражам на той площадке, где лишь чугунные ворота отделяли тебя от толпы демонстрантов. У проспекта Маркса ведомственные колонны сливались в единое праздничное шествие: там уже не проверяли состав демонстрантов и запросто можно было выдать себя за ребенка одного из участников с другого конца колонны.

После нашей семейной коммуналки из кухонных тупиков, узких коридоров и запертых дверей с шушукующимися родственниками – после всей этой чуланной жизни, не анонимности ли и простора я искал в бесконечном разнообразии незнакомых мне, но открытых улыбающихся лиц, плакатов, бумажных цветов, воздушных шаров, лент и мишуры? Широкие улицы гудели хором голосов, площади отзывались перекличкой колонн, уханьем самодеятельных оркестров. Вход на Красную площадь сопровождался разудалым цоканьем каблучков о булыжник, под стелящиеся над голосами ура с патриотическими хорами из репродукторов, и сразу, за Мининым и Пожарским – бодрые команды из усилителей и отдаленное гаканье демонстрантов, приветствующих партию и правительство на трибунах Мавзолея вдалеке. Меня мотало в этой толкучке. Родители подымали своих детей на плечи. Меня могли раздавить в два счета, но я этого не сознавал. После атмосферы незримой ворожбы и зловещих пассов, двусмысленных намеков и угрожающих пророчеств во время душных семейных сборищ я упивался этой телесностью, нахрапистостью этой площадной мистерии, с астматической одышкой марширующей толпы, с запахом бензина и пота, резеды и одеколона «Шипр». Я хотел звучать и двигаться вместе со всеми, только чтобы меня взяли в эту родимую бессемейственность, в это слитное разноголосье. Взмывало вверх майское солнце, как детский воздушный шар, подстегнутое ревом команды из репродуктора, и начинало лететь над толпой могучим ура, под гортанный клекот песни, трепещущей знаменами над морем голов по всей Красной площади. Сердце мое начинало колотиться, в горле рос комок. Именно так я и ощущал жизнь за границей из рассказов тети Ирены: многообразие обычаев, костюмов и лиц. Каким, однако,

заунывным и убогим казалось мне в такие моменты иноземное щебетание красавицы с глянцевиной пластинки тети Ирены. Ее заграничность начинала казаться мне фальшивой. Красная площадь и была для меня истинной границей.

Я возвращался домой взмокший, встрепанный, просветленный и вдвойне скрытный. Я забивался в угол, стараясь не встречаться взглядом с отцом. Он ходил вокруг меня молча, как бы обнюхивая, брал за подбородок и, склонившись над моей макушкой, требовал: «Посмотри мне прямо в глаза. Признавайся: опять был на сталинском шабаше?» Я, к примеру, говорил, что я был в кино, но он говорил, что кино в такие дни закрыто. Когда все версии моего вранья истощались, отец приступал к экзекуции. Для отца часть наказания состояла в публичной демонстрации моего позора и унижения. Дверь нашей комнаты в такие моменты держалась демонстративно открытой. Однажды в дверях остановилась тетя Ирена. «Расстегивай ремень», приказывал отец. «Спускай штаны», и, подцепив мои штаны с пола, вынимал из них ремень. Орудие пытки представляла жертва экзекуции. Отец раскладывал меня поперек дивана и ставил трусы. Первое время я страшился не столько самих ударов, сколько собственной голизны. Я ерзал, стараясь повернуться так, чтобы не лежать голой задницей к двери, но отец пресекал эти уловки. В подобном положении редкие, но яркие моменты невысказанной конфиденциальности и интима моих отношений с тетей Иреной вставали перед моим внутренним взором. Мой внешний позор был очевиден. Но какой позор и что за чувство вины снесли ее душу? Я, с пылающими от стыда щеками, лежал, сжав зубы от боли, распластанный в очередной раз на диване в позорной позе. Решившись однажды повернуть голову в ее сторону, я встретился с ней взглядом и прочел в них дотоле неведомое: сочувствующее любопытство – если не уважение? Мы как бы уравнивались в позоре через тайну: у нее был свой постыдный секрет, а у меня – свой; мы оба скрывали правду по семейным соображениям и оба мы держали таким образом в напряжении всю семью. Разоблачение ее секрета грозило «оставить меня травмированным на всю жизнь». Экзекуция на диване убеждала ее, как я надеялся,

в том, что меня не так-то легко травмировать. Удары ремня обжигали, но в общем мне было не столько больно, сколько приятно: вся сцена была доказательством моей силы воли и выдержки (подростковый вариант вирильности?) в сокрытии секрета. На губах у нее блуждала странная улыбка. Мне было приятно, что она на меня смотрит.

Манеры ее вообще к тому времени изменились. Ее прежнее строгое платье, похожее на футляр из-под очков, сменилось на ночной халат: она разгуливала в нем по всей квартире, едва его запахнув, мало кого вокруг себя замечая. «Ты хоть бы бюстгальтер надела, что ли. Ради ребенка», шипела на нее мама. «Зачем?» на мгновение задумавшись, отвечала тетя Ирена: «Вокруг сплошная ложь и лицемерие. Пусть знает с детства нелицеприятную сторону вещей». Когда на семейных сборищах речь заходила о политике, ей уже не возражали: хрущевское хлопанье туфлей по трибуне ООН сменилось грохотом советских танков по площадям Восточной Европы. Подтверждался ее пророческий пессимизм. Эта борьба с лакировкой действительности не распространялась, однако, на ее собственную прическу. Сквозь приоткрытую дверь ее комнаты я все чаще видел ее перед зеркалом, за кучей пузырьков и банок: щеточками и кисточками она подкрашивала и пудрила свою, седеющую видно, голову – от макушки до подбородка. Оторвавшись от зеркала, она снова брала в ладони мое лицо и повторяла: «Помни завет Солженицына: жить не по лжи!» Но она явно имела в виду не политическую обстановку в стране. Ее лицо, все еще казавшееся мне бесподобным в короне золотых волос, покрывалось мелкими капельками пота и розовыми пятнышками. Или это были оспинки? А может быть, я просто-напросто стал замечать эти пятна и сетку морщин у виска потому, что повзрослел; как стал замечать и то, что у нее отнюдь не римский нос, а ресницы были вовсе не такими густыми и тенистыми, как дачные тропинки моего детского воображения. Мне было жалко и ее, и себя самого: оттого, что жалость занимала место прежнего необузданного обожания. Не был ли этот первый осознанный ужас перед старостью, перед превращением золотого руна ее волос в серые патлы – главной причиной моей эмиграции? Или же я пытался вырваться из семейных оков, со-

мкнувших уста тети Ирены? Окончательно завравшийся в своей жизни, не пытался ли я своим прыжком за железный занавес подать ей дружеский пример? И заодно избавить ее от чувства вины и страха «оставить меня травмированным на всю жизнь».

* * *

Этой пожизненной травмы мне, однако, избежать не удалось. Только в ином, не мамином, смысле. Дело сводилось к тому, что я не мог вытравить из памяти образ тети Ирены и ее золотого руна, золотистого плена ее волос. До меня это не сразу дошло. Но как могло быть иначе, если покидал я Россию (тогда, в семидесятые, казалось: навечно!) ради того мира, что связан был с ней и больше ни с кем. И когда я сочинял свои первые письма родственникам в Москву, это ее голос надиктовывал мне мои собственные первые впечатления: «Бесконечное разнообразие обычаев, костюмов и лиц. Обилие продуктов широкого потребления. Праздник, который всегда с тобой. Ты сидишь с коктейлем за столиком кафе, а весь этот радостный многообразный мир кружится вокруг тебя. И ты начинаешь кружиться вместе с ним». Но не было рядом тети Ирены, чтобы встать и закружиться с ней в этом мире, как тогда, когда она, бывало, подхватывала меня, встав из-за стола под зеленым абажуром, чтобы закружиться под нездешнее мурлыканье с граммофонной пластинки. Не то чтобы я был слишком грустен или одинок в этом раю, но зеленый абажур с патефоном и развевающиеся змеиные кудри тети Ирены в некоем вальсовом повторе все чаще и чаще возникали перед моим внутренним взором, и губы мои шептали, как когда-то дядя Аркадий: «А как же насчет нашего ЦПКиО?» Вновь и вновь вставали перед моим внутренним взором зеленый абажур и патефон, и сизый дымок «Герцеговины-Флор» – подсвеченным облачком над ее золотистой короной; и она сама, *герцеговина*, пытается донести до нас, смертных, нездешние слова, слетающие с диска грампластинки. Я, казалось бы, воплощал ее завет в жизнь. Наяву переживал слова ее мечты.

У нее же самой, однако, мое решение навсегда покинуть Россию не вызвало, в свое время, особого энтузиазма.

Эмиграцию, сказала она мне перед отъездом, надо начинать изнутри: «Надо в первую очередь освободить темницу своего сознания и лишь затем распахивать железный занавес государственных границ». Что она имела в виду? Какие темницы сознания и какие секреты томились там в заточении? Самая простая причина моего отказа стала проясняться для меня слишком поздно: страх. Страх перед разоблачением страшной тайны, запрятанной в темницах души тети Ирены. По мнению мамы, я боялся остаться травмированным на всю жизнь. На самом деле, я жил в страхе, что узнаю нечто монструозное о самом себе, что известно лишь тете Ирене. Я делал вид, что надеюсь разузнать все и разгадать этот секрет там, за магическим железным занавесом. В действительности я бежал, чтобы не оказаться наедине лицом к лицу с правдой.

В течение всех последующих лет моей эмиграции намеки на существование этой правды поступали от моих родственников с завидной регулярностью. Лет семь назад, скажем, в очередном письме из Москвы не слишком внятно сообщалось о том: что тетя Ирена едва не осуществила свои угрозы публично, и если бы не своевременное вмешательство моей мамы, она совершила бы совершенно возмутительную по своему безобразию выходку, чуть не опозорив нашу семью на всю Москву. Все члены нашего семейства чуть не выцарапали друг другу глаза по этому поводу в буквальном смысле, несмотря на уверения дедушки, что причины разногласий – «исключительно желудочные». Тетю Ирену временно госпитализировали – тоже не по желудочным, как меня пытались убедить, причинам. По желудочным причинам или нет, но ее безобразная выходка произошла в мое отсутствие, а значит, не касалась исключительно меня. Но если не меня, то кого? Чем чаще я ломал голову над этой загадкой, тем отчетливей представлял себе ее в больничной палате, с лицом в старческих мушках, оспинках и с пергаментными висками, ее легендарные кудри поблекли и сбились в ватные букли. Она смотрела на меня из далекого мне российского настоящего (ставшего для меня недоступным прошлым) неморгающим оком – совесть эпохи: как бы укоряя меня за то, что я решил переменить место своего жительства, а не образ жизни своего места, и внутреннее

убожество подменил внешним комфортом – без страхов и секретов. Секрет же, как я уже говорил, это залог продолжения истории и, как учил нас опыт тети Ирены, не стоит спешить с его разоблачением; но секрет при этом должен быть твой и ничей другой: чужие секреты, как чужие сны, нам неинтересны. Этот мой кошмарный секрет, неведомого мне смысла, оставался там, с ней, а она того и гляди могла сойти с ума или вообще отбыть на тот свет, оставив меня в потустороннем мире эмиграции без всякой надежды возвращения в заветный сюжет русской истории через этот самый секрет, которого я так страшился.

Жизнь там, куда нет возврата, застывает навечно у нас в сознании, и поэтому когда я, лет через пятнадцать, получил письмо лично от тети Ирены, никакой дистанции времени я не почувствовал: казалось, что я расстался с ней вчера. Однако с этого, так сказать, вчерашнего дня в стране начали происходить метаморфозы, загадочные не только для иностранцев, но и для самих граждан советской, в прошлом, державы. «We have become emigres in our own country made unrecognizable by tricks of history» («Мы превратились в эмигрантов в собственной стране, ставшей неузнаваемой из-за фокусов истории»), писала мне тетя Ирена. Почему-то по-английски. Мне в голову не приходило, что она знает английский. Неужели та мистическая дама, из глянцевиной бездны граммофонной пластинки, вещала в те волшебные дни моего детства именно на языке, что по воле судьбы стал мне вторым родным? Не потому ли я и выбрал Англию своей второй родиной: в поисках, так сказать, эха родных мне с детства, в самой своей загадочности, звуков? Или же она считала: я настолько англизировался, что уже по-русски не разумею? «Оказавшись в Москве, ты не заметишь перемены своего политического статуса: все мы теперь эмигранты-антисоветчики», продолжала она: «Поскольку между нами больше нет внешних политических преград, мы сможем забыть про географию страны и сосредоточиться на географии души. Если, конечно, ты все еще любишь свою тетку и хочешь знать правду». Вовсе не к правде, так я понимаю, стремилось мое сердце: истина заключалась в том, что тетя Ирена стала являться мне в моих ностальгических снах вновь как и прежде в ореоле

огненно-рыжих волос, в муаровом платье с глубоким декольте, туфли на шпильках, чулки со стрелочкой – моя недостижимая Россия; и я – ей, приветствуя радостный плен, бросал свое сердце: ловите, Ирен!

После стольких лет разлуки прежняя география оказалась, действительно, содранной, как старые обои, со стен родного города: вместо памятника Дзержинскому среди любимой площади торчал обрубленный, как кулья, пьедестал; везде были набиты таблички с дореволюционными названиями улиц – номинальные символы прошлого казались новой России прочным залогом будущего. Не было моих детских секретов под стеклышком. Не было ни парадов на Красной площади, ни прорыва сквозь милицейские кордоны, ни азарта погони за бродячей кошкой. Я попал в минуту траурного молчания, на этот раз – в память по самому себе. Москва представляла перед глазами как ограбленная квартира – все закоулки помнишь наизусть, но комнаты голые и везде следы чужих сапог. Я опасался, что таковым предстанет и мое семейное прошлое – ограбленным. Но родительский очаг остался прежним, как будто воспроизведенный копировалкой моей памяти: и запах селечки с вареной картошкой, и зеленый абажур над парчовой бахромой скатерти, и, главное, все то же рыжее сокровище кудрей, золотое руно волос тети Ирены. Я не верил своим глазам. Дело даже не в том, что я, конечно же, ожидал увидеть старуху с пепельными патлами. В смысле эффекта тут было нечто посильнее покрашенных волос. На ней было и прежнее муаровое платье с глубоким декольте; его вырез в своей отточенности повторял и ее округлое колено, и подъем в туфле, заострившейся шпилькой каблучка. Как будто годы прошли не в старении, а в обретении себя прежней. То, что произошло с ней и со страной, как бы повторяло уайльдовскую историю Дориана Грея: как только советская власть рухнула, обезображенная распадом и позором, к моей тете вернулся ее прежний шарм, стать, *панаш*, как говорят англичане, употребляя французское слово. Взбудораженный встречей, я попробовал заикнуться насчет старой пластинки на патефоне, но меня уже никто не слушал: после первых объятий, раздачи подарков,

ахов и вздохов, все семейство тут же забыло про меня, вновь сцепившись в политической сваре о будущем России.

Больше всех шумел дядя Аркадий. Он постоянно повторял свой отчет о пребывании на баррикадах у «Белого дома» во время путча. «Кстати, расскажи там у вас на Бибиси», брал он меня за пуговицу, пододвигая свой стул вплотную. В который раз он предлагал британскому радио историю о том, как все участники выстроились в цепи, взявшись за локти, против танков, и когда все хором стали скандировать: «Сво-бо-да», то с дальнего конца, услышав, тут же подхватили: «Би-Би-Си».

«Свобода, понимаешь? Либерти, наша американская радиостанция», разъяснял он мне, как иностранцу.

«Вас, заслуженных участников этих баррикад, расплодилось столько же, сколько старых большевиков с бревном при Ленине на революционном субботнике», вставила тетя Ирена; мне даже показалось, что она мне подмигнула.

«Ты, Ирена, закоснела в своем цинизме. За эти три дня я полюбил и поверил в свой народ», обернулся к ней дядя Аркадий, с повлажневшим от собственной растроганности взглядом. Ноздри его расширялись, двойной подбородок начинал дрожать и усиливалась астматическая одышка. Я впервые, может быть, был свидетелем пресловутой параллели между революционной активностью и сексуальной фрустрацией: в его одержимости политикой была физиологическая возбужденность, тем более заметная в его преклонном возрасте. «Когда на митинге подняли наш российский флаг, мне, ей-богу, хотелось плакать от восторга, как мальчишке».

«Russian flag, indeed», скривилась в иронической улыбке тетя Ирена, обращаясь ко мне конфиденциально по-английски. Между нами, тем самым, устанавливались как бы конспиративные отношения. Она повернулась к дяде Аркадию. «Не успели один флаг опустить, другой вздергивают. Вместо пятиконечных звезд кресты повешаете? Уничтожаете улики своих грязных делишек в недавнем советском прошлом? Бронзового Дзержинского убрали с постамента, но кто его вытравит из сознания миллионов? Уничтожение памятников – это не борьба с мрачным наследием, Аркаша, а вандализм».

«Это у нее желудочное», сказал мой отец вместо покойного дедушки, а мама вместо покойной бабушки стала тут же раскладывать по тарелкам новую порцию холодца.

«А в Мавзолее – Макдональд собираетесь разместить?» отодвинула от себя холодец тетя Ирена, как будто на тарелке лежала мумия Ленина. «А вместо Дзержинского – Сахарова на коне, что ли? Раньше Сталина называли солнцем нашей родины, а теперь новооткрытую звезду назвали Анной Ахматовой. Вы думаете, можно избавиться от неприятного прошлого, его переименовав? Какая звезда, такая, извиняюсь, и езда? Не выйдет, господа! Свобода, как сказал поэт, приходит нагая. С внутренней ложью можно покончить, лишь полностью разоблачившись». Поднявшись со стула, она подошла к зеркалу и, отведя прядь волос, стала вглядываться в свое отражение, как будто действительно собиралась сбросить с себя постылые одежды.

«Она опять за свое. Плешь, извините за каламбур, проела», забегал по комнате дядя Аркадий, нервно хватаясь за лысину. Мама, седовласая и благообразная, с минуту назад матронисто председательствующая за столом вроде покойной бабушки, тут же подскочила к тете Ирине, обняла ее за плечи, как одноклассница-гимназистка, и затараторила заискивающе:

«Ирунчик, умоляю тебя. Подумай о ребенке». Она покосилась на меня. Тетя Ирена аккуратно загасила и растерла папиросу «Герцеговина-Флор» в пепельнице с видом Кремля. Губы ее сжались:

«Ты опять насчет детских травм? Этот ребеночек уже давно был бы дедушкой, если бы ты не воспитала его в страхе перед женским полом в моем лице», и, нахмутив по-деловому брови, она обратилась ко мне со следующим, к ужасу всех присутствующих, вопросом: «Онанизмом занимаешься?» Я покраснел. «Мастурбируешь в эмиграции?» повторила она вопрос, употребляя на этот раз латинский корень, как будто мне, новоиспеченному англичанину, слово мастурбация было более понятным, чем онанизм. Я, онемев, продолжал идиотски улыбаться. «Не думай, что я тебя за это холостяцкое занятие осуждаю. Стыдиться тут нечего. Мастурбация помогает сконцентрироваться на собственном внутреннем мире. Кроме того, лучше мастурба-

ция, чем все эти любовные интрижки, шушуканье по углам, лицемерие супружеской жизни. Ради детей. Чтобы избежать травмы. Уйти от правды. Самые страшные деяния родителей при советской власти творились ради благосостояния детей».

«Ты знаешь, Ирка в каком-то смысле права», сказал отец, обращаясь к матери, как-то жалобно при этом скособочившись, не поднимая головы. «Права, но, конечно, лишь отчасти. Имея в виду патологическую склонность к вранью у нашего сына, в результате. У него это, отчасти, желудочное, я не отрицаю».

«Легко рассуждать, Мишуня, когда ни за что не отвечаешь. У нее никогда не было ребенка. Бездетные еще и не такое себе позволяют», бросила ему в ответ мать и тут же испуганно прикрыла рот ладонкой: она явно сказала что-то не то, чего говорить не следовало.

«Did you hear this»? на взвизге, голосом разгневанной матроны из частной гимназии, обратилась ко мне по-английски тетя Ирена. «Нет, но вы только послушайте! А кто, простите, сделал мою утробу стерильной, бесплодной, бездетной? Кто наслал эту стерильность, бесплодность, бездетность на мою голову?»

«Upro our head? На вашу голову или, все-таки, на вашу утробу?» уточнил я ее машинально тоже по-английски.

«Good question, indeed. Вот именно», побледнев, посмотрела на меня тетя Ирена со зловещей улыбкой.

«Прекрати изъясняться по-английски, как будто никто из нас тут ни слова не понимает. Я тоже в Америку собирался эмигрировать, между прочим. Я тоже курсы английского посещал, о-кей?» заерзал на стуле, потирая лысину, дядя Аркадий.

«Знаю я, какие ты курсы посещал. С Марой в постели?» сощурившись, смерила тетя Ирена взглядом мою маму. Я остолбенел. «Конечно, в отличие от меня, тебе, с твоей лысиной, терять было нечего», брезгливо отодвинувшись от него, тряхнула кудрями тетя Ирена.

«При чем тут моя лысина?» обиженно пробурчал дядя Аркадий.

«Интересно, на кого ты был бы похож, оказавшись в моем положении? И как бы, интересно, выглядела бы в

результате наша распрекрасная Марочка?» снова запыхтела папиросой тетя Ирена.

«Никто не заставлял тебя спать с моим мужем!» вдруг взвизгнула мать, забыв и про мои детские травмы, и вообще про элементарную благопристойность.

«Интересно, а с кем мне еще спать, пока ты спала с моим Аркадием?» невозмутимо пожалла плечами тетя Ирена.

«Я была совершенно одна», зашмыгала носом мама. «Это ты с Михаилом крутила шашни в различных командировках, делая перед нами вид, что разъезжаешь по границам. Как будто мы ни о чем не догадывались. Мишенька надрывался на дальних объектах, чтобы прокормить семью, и не в последнюю очередь тебя, иждивенку, с твоим безделием и философствованиями о Востоке и Западе. Он из-за тебя ночами не высыпался».

«Скажи спасибо, что это я, а не ты спала со своим мужем. С его дальними музыкальными объектами и сопутствующими венерическими заболеваниями. Или ты готова была вместо меня полгода проваляться в вендиспансере?» сказала тетя Ирена.

«Мы выбивались из сил ради того, чтобы после больницы ты ни в чем себе не отказывала», сказал дядя Аркадий. Мать, седовласая статная женщина, поднявшись со стула, стала надвигаться на тетю Ирену, бюстом прижимая ее к стене. Их лица сияли злобой и свободой: дождавшись, наконец, возможности оскорблять друг друга в открытую, они чувствовали, что оковы тяжкие приличий пали, стесняться больше некого и можно не сдерживаться. Они как будто помолодели: глаза их блестели, рты были полуоткрыты, как дуэльные стволы. Время как будто сдвинулось на несколько десятилетий, возвращая меня в прежнее подростковое состояние, но раскрывая при этом все давние жуткие секреты мира взрослых.

«А ты что, по сути дела, делаешь вид, как будто не понимаешь, о чем идет речь, в принципе?» в грозном раздражении обратился ко мне отец, отмалчивавшийся все это время в углу. Наконец-то он заметил меня, невольного свидетеля этого семейного безобразия. Я, действительно, не понимал, о чем идет речь. «Ты что, хочешь сказать что никогда обо всем этом, в принципе, не слышал?» Я отрица-

тельно мотнул головой, не разжимая губ. «Но об этом было известно всем!» и он стукнул ладонью по столу, призывая всех к тишине.

«Но вы все об этом молчали», проронил я.

«Разве можно было выразить в словах то, что и так понятно без слов?» отозвалась из своего угла тетя Ирена.

«И ты никогда, в принципе, не слышал, какую тайну тетя Ирена, по сути дела, все эти годы от тебя скрывала?» Я снова пожал плечами в недоумении. В угрожающих нотках его голоса мое чуткое ухо стало различать панику отчаяния. Но я впервые говорил ему правду: мне в голову не приходило, что в нашей семье могло случиться нечто подобное – все эти интриги и адюльтеры. То есть, интриги, да, вполне возможно, в принципе, но адюльтеры? «Ты ему веришь, Аркадий?» повернулся отец к дяде.

«Нет, Мишук, я ему не верю. Ты ему веришь, Марочка?» сказал дядя Аркадий. Он, вместе с остальными родственниками, сужал кольцо вокруг меня.

«Как можно поверить его наивности? Это граничит с кретинизмом. Но мой ребенок не может быть кретином», мама горделиво выпрямилась на стуле, задрвав подбородок. «Он всегда был очень восприимчивый мальчик, со здоровыми физиологическими реакциями. Говорю не как мать, а как придиричивый педагог. Даже Ирена может подтвердить. Ты ему веришь, Ирена?» повернулась она к родственнице. Тетя Ирена *негативно* качнула своей золотой тиарой:

«Может быть, он был одержим подростковым онанизмом и был совершенно слеп к окружающей действительности?» Я вспомнил не онанизм, а парады на Красной площади и отцовский ремень. Теперь поздно объяснять.

«Зачем ты врешь?!» глядя на меня исподлобья, обиженно вздохнул отец, и рука его, почти машинально, потянулась к ремню: по привычке прежних лет. Сейчас он потребует, чтобы я приспустил штаны, разложит меня на диване и отхлещет по голый заднице ремнем на глазах у тети Ирены. Сладкий ком скопившихся за годы слез рос в горле. Но на этот раз я буду шипеть и царапаться, как та бродячая кошка у помойных баков на заднем дворе моего детства.

«Михаил», королевским жестом остановила его тетя Ирена. «Неужели годы сталинщины не отбили у всех у вас охоту прибегать к насилию в разрешении духовных проти-

воречий? Поверь, лучший способ борьбы с ложью – не добиваться правды во что бы то ни стало, а разоблачить первопричину лжи. Оголить правду, you see? Голая правда говорит сама за себя», сказала она.

И тут, как бы в доказательство своей логики, она совершила некий неуловимый, как у циркового фокусника, жест. За мгновение до этого все, казалось, шло логично и благопристойно, а потом вдруг происходит нечто такое, что не имело решительно никакого отношения к предыдущему. Гремит барабан, и на арене уже не люди, а животные. Я помню лишь, как тетя Ирена вздернула руку вверх, к виску, как самоубийца с пистолетом. Все повскакали со стульев, тоже взметнув руки – в ее сторону, бросившись к ней, как будто пытаясь спасти ее от неминуемой гибели, но застыли, окаменев, осознав, что все усилия уже тщетны, что слишком поздно. Я не сразу понял, что, собственно, произошло. Мать издала то ли короткий вопль, то ли истерический всхлип. За мгновение до того передо мной маячил прежний образ тети Ирены: она у патефона-граммофона, в кружевном ореоле своих кудрей, в черном декольте, с дымком «Герцеговины-Флор» у алых губ, как в дымке прошлого. Одно движение руки, и она исчезла. Исчезла моя мечта. Точнее, исчезло то, что я считал своей мечтой в прошлой моей жизни. Как если бы она на глазах у всех задрала юбку и скинула трусики. Она демонстрировала нам голую правду. Ее рука, совершив цирковой трюк, бессильно свисала вдоль бедра: на пальце брезгливо болтался сорванный с моего прошлого ореол – золотое руно ее роскошных волос. Точнее, *не* ее волос. Искусственных волос. Эти рыжие кудри, соскользнувшие с пальца на пол, были похожи на жалкую шкурку дохлого зверька. На полу валялся волосатый трупик. Это был парик. Всю свою прошлую жизнь я пилился на парик, восхищался чучелом. Я боялся поднять глаза и встретиться взглядом с голой правдой.

То, что скрывалось под париком, было страшнее после-революционной разрухи, сталинского террора и брежневского застоя. Над патефоном нависал яйцеобразный череп, с розоватыми младенческими проплешинами, покрытый кое-где, как одуванчиками, пучками седого пуха. У ушей

торчали седые патлы, вроде пейсов-косичек, с нелепым, как у китайского болванчика или донского казака, с оселедцем с булавкой на макушке: на этих жалких остатках растительного покрова и держался, видимо, парик. Голизна черепа оттеняла напудренное лицо с густо подведенными бровями и наклеенными, как у детской куклы, ресницами, с кровавой кляксой рта: как будто это лицо, как и парик, тоже ей не принадлежало, а крепилось за ушами английской булавкой, и его тоже можно было сорвать и выбросить в помойное ведро. На этом обнажившемся лице стали выделяться и топорщащиеся жабры щек, и сморщившийся, как на суровых нитках, шов губ, и отвисший кошелек кадыка, и кроличья запуганность старческих заплывших глаз. Эти глаза кружили по лицам родственников, высматривая восхищенный взгляд, ожидая поздравлений, аплодисментов благодарной публики. Вместо этого я услышал глухой вскрип, поразительно напоминающий по звуку приступ рвоты. Отец стоял в углу, уткнувшись лицом в стену. Мать раскачивалась в кресле, обхватив руками голову. Дядя Аркадий, уставившись в пол, беззвучно царапал обивку кресла скрюченными пальцами. Из всех присутствующих один я оставался на своем месте: лицом к лицу с ней.

«Ну вот, больше, вроде бы, разоблачать нечего. Ни в общественной, ни в личной жизни», вздохнуло лысое существо, умиротворенно мне улыбнувшись. «Он», сказала она, указывая на меня онемевшим родственникам, «он меня поймет. Мальчик живет в обществе, где не стыдятся самих себя. Ты ведь меня любишь? И такую любишь?» Не дождавшись ответа, она закурила заветную «Герцеговину-Флор» и стала накручивать ручку патефона. Я был уверен, что угадаю слова с пластинки. «*Shall we dance?*» и она протянула руку, робко заглядывая мне в глаза. Это было лицо моей России: без фальши, без ужимки, без прикрас.

«Прикройтесь, умоляю вас», выдавил я наконец из себя, сдерживая истерический вскрип. Я нагнулся и поднял с пола парик: «Не надо этой правды. Мы с вами еще станцуем. Только ради Бога, прикройтесь».

●
Лондон, 1992 г.

Л. Петрушевская

МУЖСКАЯ ЗОНА

Действующие лица:

Надсмотрщик

Ленин

Гитлер

Бетховен

Эйштейн

Действие происходит в античном театре

Надсмотрщик (*сидит за столиком как режиссер*). Так. Начинаем. Где у меня Ромео, где Джульетта.

Гитлер. Я... Джульетта.

Надсмотрщик. Был же Бетховен.

Гитлер. Он же не слышит ни кляпа. Глухой.

Надсмотрщик. Бетховен!

Ленин толкает Бетховена.

Бетховен. Я! (*вдевает слуховой аппарат*).

Надсмотрщик. Ты Джульетта.

Бетховен. Я лес. Нет, я луна.

Надсмотрщик. А кто Гитлера назначил?

Гитлер. Вы сами вчера.

Надсмотрщик (читает список). Ничего подобного.

Ленин. Было, было.

Надсмотрщик. Я пока не с ума соскочил. Гитлер не может быть Джульеттой.

Гитлер (складывая ручки, женским голосом). Могу! Ромео! Поди суда!

Надсмотрщик. Ромео... Ромео у нас Эйнштейн. А ты, Гитлер... Ты будешь у нас кормилицей. Так. Джульетта Бетховен. Так. Репетируем с цифры пять, Джульетта с кормилицей.

Бетховен (беспокойно). Что он сказал?

Ленин. Джульетта с кормилицей.

Бетховен. А роль?

Ленин. А ты не выучил?

Бетховен. Ась?

Ленин. Глухой, что ли? Как глухой оборотень сидит.

Надсмотрщик. С пятой цифры.

Бетховен. А.

Гитлер. Что-то я, Джульетта, беспокоюсь.

Бетховен. А что.

Гитлер. Мне не нравится твое состояние.

Бетховен. А что.

Гитлер. Я сдаю в стирку твои простыни...

Бетховен. И что.

Гитлер. И уже два месяца они чистые.

Бетховен. Ну и что.

Гитлер. Я не поверю ни за что, что ты стала такая аккуратная девица.

Бетховен (беспокойно). И что дальше?

Гитлер. Раньше я меняла тебе простыни каждый день одну неделю в месяц.

Бетховен. А в чем дело?

Гитлер. Я знаю тебя, ты сильная по своей натуре, у тебя приходят обильные месячные, ты вся заливаешься по ночам...

Бетховен. И что теперь?

Гитлер. А теперь уже два месяца все чисто.

Бетховен. И что из этого?

Гитлер. Надо выйти замуж как можно скорее, сегодня или завтра.

Бетховен. Зачем?

Гитлер. Семимесячные, видишь ли, рождаются крепкие, но уже шестимесячные... шестимесячные выживают плохо, это может вызвать ажиотаж, если шестимесячный родится четыре кило весом. Надо выйти замуж сегодня.

Бетховен (искренне). Почему это?

Гитлер. Тогда хотя бы твой ребенок родится через семь месяцев.

Бетховен. Кто сказал?

Гитлер. Господи, она совершенно невинна! Ничего не понимает, что с ней.

Бетховен (угрюмо). Что бормочет, не знает. (*Трясет слуховой аппарат.*) Алё.

Гитлер. Так. Сегодня бал, сегодня приведешь прямо сюда отца этого ребенка.

Бетховен. Я слушаю, алё. Я не могу отца ребенка привести сюда, алё.

Гитлер. Могла с ним переспать, теперь выйди за него.

Бетховен. Нет.

Гитлер. Ну не упрямясь.

Бетховен. Я не могу, алё.

Гитлер. Ну почему?

Бетховен. Нас никто не обвенчает.

Гитлер. Я договорюсь с братом Лоренцо, по-моему, я с ним спала.

Бетховен. Нет! Нет, алё.

Гитлер. А в чем дело, алё?

Бетховен. Так. (*Смотрит в сторону, бьет носком об пол. Стесняется.*)

Гитлер. А кто он? Кто отец?

Бетховен. А?

Гитлер. Алё!

Бетховен. Отца не выдам, алё.

Гитлер. Повторите, плохо слышно. Перезвоните.

Бетховен. Как слышите, прием. Я Ромашка!

Гитлер. Ромашка, вас слышу хорошо. Диктую по буквам, к-т-о о-т-е-ц! Ольга Тимур Еремей Цецилия кто?

Бетховен. Отец?

Гитлер. Константин Тимур Огульберды! К т о !

Бетховен. В.И. Ленин. Вася Ира Ленин.

Ленин. Нет.

Гитлер. Так... Я же с тебя глаз не спускала с тех пор, как ты начала путаться с братом... Это что, от него?

Ленин. Если он про вчерашнее, то я просто потрепал его по руке.

Гитлер. Это будет у тебя племянник от брата?

Бетховен. Нет. (*Пинает носком пол. Стесняется.*)

Гитлер. А кто?

Бетховен. Я ничего и никогда тебе про отца не скажу. Запомни. Ничего про отца, про папу ни слова.

Гитлер (*ахает*). Ах он сволочь! Мало что он спит со своими сыновьями, теперь и на дочь перешел! Так... Ничего себе: ты родишь от отца, тебе это будет брат, а ему внук, и сам себе этот ребенок будет дядя! Сам себе дядя.

Ленин. Но не от меня дядя.

Надсмотрщик (*просыпаясь*). Пятая цифра!

Бетховен. Оставь меня, кормилица, ты дура.

Гитлер. Меня несчастной сделал, а жену толкает вообще на пакости какие... Ах мы пропащие, алё, а вообще какой хороший человек твой папа, когда он вне семьи или алё, когда он спит зубами к стенке.

Бетховен. Я папку люблю.

Гитлер (горячо). Его все любят, окромя Монтекки. Слушай, а за кого тебе выйти-то? Все кругом ходят обрученные с семи лет! А твой жених такая гадость!

Бетховен. Фу. Потный, жирный, от него пахнет рыбой. Засыпает сразу, и храпеть, храпеть!

Гитлер. А я и не подумала. Придется тебе за него выходить. Он у тебя часто бывает?

Бетховен. Каждый день как на дежурство. Но я его не хочу.

Гитлер. Уж придется. Может быть, это его ребенок.

Бетховен. Нет, я что, дурочка! Я ему не разрешаю. Обходится сам. Противный!..

Гитлер. Ну мало ли... Припишешь... Он не понимает, небось.

Бетховен. Я его больше не хочу, слышишь? Найди мне кого-нибудь.

Гитлер. Ну все, вот звуки музыки, начинается бал. Переоденься во все белое, я тебе сейчас кого-нибудь приведу.

Надсмотрщик (просыпаясь). Так. Где у нас Луна? Ленин, ты Луна?

Ленин. Я Луна. *(Сворачивает рот на сторону).*

Надсмотрщик (зевая). Кто у нас Ромео? Эйнштейн!

Эйнштейн. Я. *(Вытаскивает скрипку).*

Надсмотрщик. А вот этого не надо. Ты что, начнешь играть на скрипке, вас с Джульеттой сразу застукают. Танцуй пока на балу с кормилицей. Гитлер! Танцуешь с Эйнштейном. Ромео танцует с кормилицей. Джульетта вся в белом!

Гитлери и Кормилица танцуют, Бетховен тем временем переодевается во все белое, т.е. остается в кальсонах и майке. Эйнштейн с Гитлером танцуют «Кумпарситу» с

резкими поворотами головы. Гитлер прячет скрипку за кулисами.

Гитлер (*прижимая Эйништейна*). Такой молоденький! Первоходка, небось?

Эйништейн (*хрипло*). Ты ошибаешься, тетка! Мне далеко уже не четырнадцать!

Гитлер. Пойдем ко мне?

Эйништейн. А если меня с тобой увидят?

Гитлер. Ну и увидят, алё. А я тебя зато познакомлю с Джульеттой

Идут к Бетховену.

Бетховен. Ох! (*Стоит в подштанниках, дрожа.*)

Гитлер. Джульетта, ты так хотела познакомиться с Ромео!

Бетховен. Ох.

Эйништейн. Это... Джульетта?

Гитлер. А кто же еще?

Эйништейн. Я ее себе представлял не такой.

Гитлер. Что, оказалась много лучше?

Эйништейн. Ой, я скрипку позабыл. Щас вернусь. (*Поворачивается уходить.*)

Гитлер. Ты, еврейская морда! Стой здесь. Скрипка вам двоим ни к чему сейчас.

Эйништейн. Я больше ни секунды здесь не останусь, меня давно звали в Америку!

Гитлер. А в Освенцим не хо? А по ха не бо?

Эйништейн. Ты дикая, некультурная женщина, я не желаю иметь с вами ничего общего, ты настоящий Гитлер в юбке!

Гитлер. Я ща приду. (*Выходит, крадучись.*)

Джульетта. Вы что, играете на скрипке?

Эйништейн. Да, с семи лет. Я еще не умел говорить, думали, что идиот, и решили хотя бы научить меня играть на скрипке, мало ли, можно на улице заработать... Что еще возьмешь с идиота.

Бетховен (*загораясь*). А меня, знаешь, учил играть... знаешь такого Сальери? Композитора такого?

Эйнштейн (*осторожно*). В седьмом бараке?

Бетховен (*туманно*). Нет, он не здесь.

Эйнштейн. Это та история с Моцартом?

Бетховен. Там много клеветы. У Моцарта всегда было плохо со стулом.

Эйнштейн. Принесу скрипку, сыграем?

Бетховен. У меня есть скрипичный концерт, ля-ля-ля.
(*Поет.*)

Эйнштейн. Скрипку Гитлер у меня спрятал, олух.

Бетховен. А меня он любит. Гитлер любил Бетховена.

Эйнштейн. И Ленин тебя любит, соната Аппассионата.

Ленин *отрицательно трясет головой, потом спохватывается и снова кривится.*

Бетховен. Меня многие любят.

Эйнштейн. Пока этот (*в сторону надсмотрщика*) спит, я скажу: меня тут никто не может оценить, а зарабатываю скрипкой: начну играть, они сразу суют мне кубок с амброзией и просят: здесь больше не играй. А в остальном – ну кто здесь знает, кто я и что такое е равно мц квадрат!

Бетховен. А че это?

Эйнштейн. Долго объяснять.

Ленин (*внезапно*). Да, здесь, в этих условиях, никто не обращает внимания. Как в эмиграции. Идешь – никто не узнает, даже в твою сторону не глядят. А дома, в России, приходилось натягивать парик, брить все лицо, так на меня кидались. Из-за этого мы и совершили переворот, чтобы все узнавали, кидались, но при этом не ссылали опять в Шушенское. Там тоже всем все равно, Ленин, Ульянов, фиglyянов...

Надсмотрщик (*просыпаясь*). Луна! Едрит твою в ноздрю.

Ленин. Я Луна (*бессмысленно кривится*).

Входит Гитлер.

Бетховен (Гитлеру). А ты вообще что сюда затесался, блин! Мы еще не кончили.

Надсмотрщик. Спятой цифры! Луна плывет по небесам!
Ленин, кривясь, загребаёт сажонками.

Бетховен. Ромео, ты как мороженный окунь, глаза с поволокой, а сам фригидный такой.

Гитлер (Эйнштейну). Надо, Алик, надо.

Бетховен. Ну его. Няня! Нам вдвоем лучше. Открой окно да ляг ко мне.

Эйнштейн (с постели). Такая себе невеста, подштанники несвежие.

Гитлер. Ты думаешь только о том, Джульетта, с кем бы переспать, а о деле забыла. Я могу, конечно, я всегда мою доцу люблю, но замуж я тебя не возьму, ребенка на себя не запишу. Тут мужчина нужен.

Бетховен. С ним не спится, няня, здесь так душно. Какой-то неказистый мужчина, а я ведь четырнадцатилетняя и в белом.

Ромео (вставая с постели). Мне пора, луна вроде заходит.

Ленин делает попытку зайти, т.е. опускается, крутя туловищем как в твисте.

Надсмотрщик (просытаясь). Еще не зашла!

Ленин подымается, улыбается рот на сторону, делает пассы руками.

Бетховен. Держите руки при себе, нахал!

Надсмотрщик. Ну не ожидал я от вас такой халтуры. Как будем вечность проводить? Бездарно будем проводить?

Эйнштейн. Потому что играют одни мужчины.

Надсмотрщик. Да ну... в женской зоне Ромео тоже играет какая-нибудь... Голда Меир.

Гитлер. Бабы бездарный состав. И жида. И инвалиды.

Бетховен (Эйнштейну). Я сам, Алик. (Гитлеру) Я инвалид второй группы со слуховым аппаратом, ща, блин, кровяной умоешься!

Надсмотрщик. Гитлер сейчас пойдет на общак, если так будет играть.

Эйштейн. Что такой общак, не пойму юмора.

Надсмотрщик. Он у нас вообще кипит в котле, берем его играть как первоклассного актера.

Гитлер. Не верю!

Джюльетта, доца, чем тебе не муж
Сей отпрыск рода знатного Ромео
Признайся; согласишься, что будет лучше уж.

Бетховен. Я боюсь ужей.

Ленин. Уж полночь близится, а все луна проходит
Свой вечный путь,
как смена караула
у мавзолея Ленина меня.

Надсмотрщик. Луна заходит. Утро.

Ленин уходит как часовой, печатая шаг под звон курантов.

Бетховен. Ромео, никогда мне не было так хорошо ни с родителями, ни с братом, ни с папой.

Эйштейн (смущен). Чего там! Моя мамочка тоже мной довольна, недавно родила мне сестренку с двумя рожками и хвостом. Папа ее хорошенечко заспиртовал, на Новый год будет настойка.

Надсмотрщик. Ленин, так луна не заходит!

Ленин, семеня, танцует танец маленьких лебедей.

Гитлер. Сейчас сыграем свадьбу, у Джюльетты родится дочь с рогами!

Надсмотрщик. Так, Ленин, Гитлер обратно на общак, остальные свободны!

Бетховен. Кипяток только рака красит!

Финал.



Примечание: Без согласия автора пьесу не ставить.

СВОБОДУ ПУШКИНУ!



А. Михайлов

ИЗ ИСТОРИИ ГЛАСНОСТИ. ХРОНИКА ОДНОГО ЖУРНАЛА

В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и Четырнадцатой. Строго напротив публичного дома «Веселье устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция.

Теперь я понимаю – это были лучшие дни моей жизни.

Сергей Довлатов

1990. Январь. На улице дождь со снегом. Головная боль. Синдром похмелья. Большая комната на четвертом этаже в здании РУНО на улице Кирова, 40. Производственно-коммерческий кооператив «Аюрведа». При нем – газета Агентства московских театров студий «Афиша». Кроме заметок о театральных спектаклях, она публикует Пригова, Гандлевского, Степанцова... Гласность! «А давайте выпустим литературное приложение к вашей газете: прозу и поэзию – все самое лучшее. То, что никто не печатает!»

Они согласны. «Аюрведа» даст бумагу и деньги. За рукописями дело не станет. Десятки их лежат в шкафу, как в

склепе, отвергнутые «Октябрем» и «Новым миром», где все еще с упоением печатают Гроссмана и Солженицына и разоблачают сталинские зверства. У нас будут никому не известные писатели. Эстеты. Ненормальные. Постмодернисты. Это будет уникальный журнал: ни одной проходной строчки. Главное – качество!

1991. Июнь. На улице дождь, но тепло. Головная боль. Гласность продолжается. Работает телевизор. Ведущий программы «Утро» Евгений Киселев представляет новый журнал «Соло»: «Произведения Тимура Кибирова, Анатолия Гаврилова, Дмитрия Добродеева находятся на грани литературного фола...»*

Так сбывается мечта идиота: вышел первый номер «Соло» (Solo). При желании название можно расшифровать – Союз литераторов-одиночек. Литературу же создают в одиночку, а не шайками и даже не «поколениями», как уверяет, например, критик Аннинский. Хотя, конечно, в истории литературы, возможно, останется такой забавный факт, как спихивание с теплых местечек монументальных монстров застоя отчаянными «шестидесятниками»...

«Соло» продают на Новом Арбате вместе с бульварной прессой, порно и ужасами. До боли знакомая обложка, похожая на инструкцию к пылесосу, заметна на витрине издалека. Говорят, видели человека, который сам видел, как в метро к одному, читавшему «Соло», подошел другой и спросил, где тот купил такой журнал. И что уж совсем фантастично: «Соло» видели в Финляндии! Шутки шутками, а ведь это, пожалуй, начало триумфального шествия по миру.

ИМЛИ. Конференция. Встреча в кулуарах с Битовым. Перелистав «Соло», учитель приходит в сдержанный восторг и готов участвовать в издании журнала. Предлагает привлечь, также Евг. Попова, т.к. он «просто хороший парень». Вот нас уже и трое.

* Понятие «литературного фола» можно, видимо, проиллюстрировать следующим текстом:

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми – нам некуда идти.
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
И томик намочил Эжена де Кюсти.

Тимур Кибиров. Эклога. "Соло", № 1.

1991. Февраль. Мороз и солнце. Привычный синдром. Издательство «Book Chamber International», дочернее предприятие «Аюрведы» и Гутенберга. Сигнал второго номера, который пришлось ждать чуть ли не девять месяцев. Зато красивые обложка и шрифт! Гвоздь номера – «Инцидент с классиком» Игоря Клеха. О том, как один чувак поехал на родину Гоголя, приобщиться, и первое, что он сделал, сойдя с поезда – уронил в «очко» привокзального сортира связку ключей, в том числе и от квартиры.

Кто такой Клех? Реставратор витражей из Львова. По образованию филолог. Выпивает, как он сообщил в краткой автобиографии. Пишет давно, но до «Соло» нигде не печатался. Появление Клеха в Москве полностью подтвердило анкетные данные. Оно сопровождалось славной двухдневной выпивкой, начавшейся, естественно, в ЦДЛ, продолжавшейся где-то еще и закончившейся в мастерской художника-гиперреалиста Сези. Выпивая, Клех проникновенно цитировал собственное эссе «Конфеты из говна» и трогательно называл меня своим лучшим издателем (получалось так, что у него этих издателей навалом). Пили друг за друга, за процветание журнала «Соло», за новую литературу, отдельно за постмодернизм, за Н.Я. Мандельштам и ее героя («А кто сказал, что ты должна быть счастлива?»), за город Львов, в котором я однажды был проездом, а также выясняли (но так и не выяснили) разницу между минетом и кунилингом. Почему-то излишне горячо я доказывал, что у Клеха в одном из текстов ошибка: старые большевики-члены, целуя вульву знамени, совершают не минет, а, если строго по-научному, кунилинг. Клех остался при своем мнении. За это, кажется, тоже выпили: за неотъемлемое право каждого иметь свое мнение.

1991. Апрель. Третий номер «Соло» вышел уже без какой-либо «крыши», самостоятельно. Журнал зарегистрирован в Российском министерстве печати под номером 439. Стоит это тысячу рублей. Теперь можно спокойно издавать все, что хочется. Апофеоз гласности. «Предполагаемая аудитория: специалисты, филологи, студенты, молодежь» – записано в свидетельстве о регистрации. С его получением появилась некоторая моральная уверенность в завтрашнем дне. Но только моральная. Финансовые же гарантии может дать лишь учредитель – фирма «Аюрведа», промыш-

ляющая бумагой, лесом, металлом и породистыми лошадьми. Впрочем, и она их не даст. В любой момент все может измениться «в этой стране». Поэтому у советских людей в эпоху перестройки психология истомившихся в коммунистическом плену любовников: хоть день, да мой!

В третьем номере журнала напечатан подлинный шедевр русской новеллистики – рассказ Александра Шарыпова «Клопы». Об авторе даже в узких кругах ничего не известно. В письме он сообщил, что родился на Севере, в Великом Устюге, закончил политехнический институт во Владимире и работает в глубоко секретной оборонной промышленности. Прозу пишет давно, но никто ее не печатает. Как-то решил послать несколько рассказов своему прославленному земляку и депутату В.И. Белову. В ответ получил письмо с предложением подумать о том, что юмор и цинизм не одно и то же.*

1991. Июль. Мюнхен. Чудовищная жара. Договор с издательством Пипер на публикацию сборника рассказов из «Соло». Обещают издать через год. Название они придумали «Мужицкий андеграунд». Как «тульский самовар», «сибирский валенок», или, к примеру, «русская красавица». Звучит слегка пошло. Но нехай будет по-ихнему. Важен сам факт издания за рубежом. У нас теперь кого за границей не издают, за человека не считают.

Английский парк в Мюнхене. Пивной бар тысячи на полторы посадочных мест. Голубая мечта советского алкаша. А недалеко – бетонный забор, как в сержантской школе в городе Камышине. Радио «Свобода». Корректный Юрьенен. Десять минут в эфире о журнале «Соло» и его авторах. Легко представить, как вся необъятная страна приникнет к радиоприемникам, слушая без всяких помех правдивый рассказ о «другой литературе». Читайте, читайте «Соло», драгоценнейшие соотечественники! Перед вами писатели XXI века!

1991. Август. Где вы были с 19-го по 21-ое? Лично я выехал утром с дачи в Москву и по дороге заехал в Передел-

* Вот яркий пример шарыповского цинизма: «Садись, покури, Прокопич, – сказал Миша Чучин, протягивая ладонь. Он сидел в такой позе, будто справлял большую нужду, и, свесив руки, курил». Александр Шарыпов. Клопы. «Соло», № 3.

кино к Битову. Учитель еще ничего не знал о перевороте, т.к. только что восстал ото сна. Включили телевизор и выслушали удручающее сообщение. Учитель прокомментировал его философски: «Теперь столько дерьма повывлезет». Подумалось, что журналу теперь конец. Вот это слово «конец» (правда, в несколько измененном виде) крутилось в голове всю дорогу до Москвы, куда мы въехали в колонне танков. Вместо обычного часа весь путь до дома занял три с половиной. Приехав домой, я обнаружил, что забыл свою сумку с водительскими правами, деньгами, ключами и т.п. у Битова на даче.

1991. Сентябрь. Синдром гласности продолжается. Вышло уже шесть номеров журнала. В московских киосках «Союзпечати» можно видеть разноцветные обложки «Соло». Уже три (!) недели как навсегда покончено с выпивкой. Дела по журналу прибавляются с каждым днем. С энтузиазмом начатая докторская диссертация стоит на месте, как вкопанная. Какая там «проблема гуманизма», когда от других проблем голова идет кругом! Куда, например, девать тираж 20 тыс.? «Союзпечать» берет лишь треть, агентство Кубон и Загнер – всего 80 экземпляров. Других путей распространения уже нет. Отправка журналов в другой город стоит непомерно дорого. Придется тираж сокращать. Между тем, появились благожелательные отклики на «Соло» в «Литературной газете», «Книжном обозрении», «Огоньке», «Независимой газете» и др. Нужно гнать волну, быстрее выпускать следующий номер, печатать лучшее из того, что есть. Рукописи все прибывают и прибывают. Несчастные никому не ведомые авторы узнали, что есть журнал, который печатает именно их. В редакцию приходит множество писем. В жизни не приходилось их читать столько, сколько за последний год. И объяснения в любви с первого взгляда, и мрачные прогнозы относительно будущего журнала, и заявка библиотеки из Осло о подписке на «Соло», и безумный трактат в духе Н.Ф. Федорова «К вопросу о живом бессмертии», присланный из Темиртау, и реклама эротических изданий из Миннеаполиса, и просьбы принять в Союз литераторов-одиночек, и много чего еще.

Никогда не было такого интереса к письмам. Разве что в армии, когда одно-единственное письмецо выучивалось чуть ли не наизусть. Но тогда письма были все-таки из дома,

тут – от незнакомых людей. Именно с писем началось знакомство с Клехом и Шарыповым, Гавриловым и Буйдой и другими авторами «Соло», которые не посрамят любую «обойму».

Гаврилов Толя живет во Владимире, в свое время устроился работать разносчиком телеграмм, чтобы не привлекли за тунеядство. Рассказы писал без особой надежды на публикацию. Помог отзывчивый Евг. Попов. Он приехал однажды из Москвы специально за рукописями Гаврилова, зная того еще по Литинституту. Они собрали отдельные листочки в «мешок» и решили выпить вина. Потом Попов уехал, а «мешок» забыл. Пришлось приезжать еще раз. В результате у Гаврилова в Москве вышла маленькая книжка «В преддверии новой жизни», подборка рассказов в «Соло»*, отдельные публикации в других журналах, немецкое издательство Зуркамп купило права на публикацию его произведений. Но Гаврилов по-прежнему работает на почте и как-то заметил, что когда жизнь будет совсем прекрасной, то ему нечего будет делать.

Другой автор, нигде не печатавшийся до «Соло»** , Юрий Буйда, родился в Калининграде-Кенигсберге, там же, где Э.Т.А. Гофман. Но автор «Золотого горшка» и «Крошки Цахеса» в отличие от Буйды никогда не работал в районной партийной печати. Поэтому Буйда мог бы его даже переплюнуть по части литературных мистификаций. Чтобы не впасть в идеологический маразм, свойственный партийной прессе, и остаться нормальным человеком, Буйда писал для себя рассказы, полные «вымыслов и преувеличений» (так называлась его рукопись). Для «двойной» жизни ему даже не нужен был псевдоним (как когда-то «Абрам Терц» понадобился А.Д. Синявскому). Фамилия Буйда обозначает по-польски что-то вроде «байки», «туфты» или «турусов на колесах».

Еще один дебютант журнала*** – Андрей Кавадеев – учился в Саратовском университете, служил архивариусом

* Анатолий Гаврилов. Рассказы. «Соло», № 1, стр. 5-29.

** Юрий Буйда. Люди на острове. Третий. НСПДГЧНДСИ. «Соло», 1991, № 4, стр. 74-95.

*** Андрей Кавадеев. Рассказы из русского лубка. «Соло», 1991, № 4, стр. 9-21.

2-ой категории, писал рассказы в книгохранилищах. Пытался поступить в Загорскую духовную семинарию, но успешно провалился. Зато поступил в Литинститут, в семинар Битова, где и учится до сих пор, как он выражается, на правах солиста.

1991. Ноябрь. Выпал снег. Поступил в продажу седьмой номер «Соло». Вместо трех рублей, его теперь продают за пять. Но и это не спасает. Себестоимость значительно выше. Все держится на упорстве и энергии редакции, а также на остатках иллюзий относительно конечного успеха у нашего спонсора. Ко всему прочему еще и неприятности дома. Жена резонно спрашивает, что это за дело такое, за которое почти не платят денег и почему нужно с таким ослиным упорством им заниматься. Шел бы лучше в таксисты, а литературой занялся бы в свободное время, все русские эмигранты с этого начинали. (При чем тут эмигранты? Характерный пример женской логики.) В общем, у жены крепнет подозрение в безнадежности моего идиотизма.

Конгресс ПЕНа в Вене. Великолепная возможность для рекламы «Соло». Аксенов, например, о нем уже от кого-то слышал и знает некоторых авторов. Ему нравится Гаврилов. О журнале говорит с сочувствием. Обещает написать отзыв. Взамен обещаю его (отзыв) напечатать.

Венский университет. Отделение славистики. Выступление перед студентами. Спич о новой литературе, об издательской ситуации в стране и, естественно, о журнале «Соло» как о самом передовом издании эпохи гласности и перестройки. Реплика после лекции: «Спасибо. Вы рассказали много интересного. Мы ничего этого не знали. Слышали только про Достоевского и Татьяну Толстую.»

1992. Январь. ОбвальнЫй рост цен на бумагу и типографские работы. И хотя восьмой номер со скрипом, но появился, будущее покрыто мраком. Редколлегия еще продолжает давать интервью, подогревать интерес к журналу везде, где можно (Битов в Англии, Попов в Германии, Гаврилов во Владимире, Клех во Львове, я в Москве и Московской области), но признаки начала конца уже заметны. У нашего спонсора «Аюрведы» дела пошли хуже, душат налоги. А мы полностью зависим от него. Где же взять ДЕНЬГИ? Будь он трижды проклят, этот капитализм!

1992. Май. Все пропало. Спонсор объявил, что приостанавливает выпуск журнала на некоторое время. Точное время не назвал. А ведь сверстаны уже девятый и десятый номера с потрясающим подбором неизвестных авторов. Неужели все было напрасно? Сейчас бы выпить с горя. Но бутылка водки стоит теперь ровно в тридцать раз дороже, чем номер нашего журнала.

1992. Сентябрь. На улице дождь. Головная боль и синдром похмелья. Стены чужой квартиры. Унылый вид из окна. Окончательно поссорился с женой. Ушел из дома, как Лев Толстой. Диссертацию так и не написал. По радио несут какую-то ахинею. О темпора, о морес! Где ты, благоденственная эпоха застоя?



СОЛО № 6

СВЕТАЛИЙ ПОДВАЛ

В марте этого года в Москве состоялась четырехдневная научная конференция "Постмодернизм и мы". Причем, в стенах Литературного института им. Горького. Это примечательное и даже заманчивое событие не могло не навести меня на грустные мысли о возрасте.

Конференция была очень представительна, весь цвет современных авангардных групп и течений (в том числе авторы "Соло"), переполненный зал, молодые люди, просвещенные лица... Как приятно видеть не морды, а лица, не искаженные агрессией или тщеславием посвященности, разглаженные знанием предмета и чувством собственного достоинства! Что-то, однако, и все-таки, и уже, произошло, слава Богу. "Андеграунд" собирается не в подполье, и вызов, сам по себе, уже ничего не стоит. Предъяви текст...

Зачем я туда зашел?.. Здесь меня уже не было. Я чувствовал себя почти Бабаевским. Здесь не было нас, здесь не было моих, здесь были все свои.

С радостью отыскал я в зале Сапгира и Холина, они и сейчас сидели рядом, как тридцать лет назад. Но показалось, что уселись они рядом не только как старые соратники, но и с испугу, чтобы держаться друг за друга: вокруг было подавляющее большинство.

А где же ленинградцы? Мелькнул Драгомощенко, в программке была заявлена Лена Шарц...

Ленинградцев опять не было.
Нас и тогда, тридцать пять лет тому, не было. И тогда все было в Москве.

Но для самих себя мы еще как были!

Голявкин.

Еремин, Уфлянд, Виноградов.

Найман, Бобышев, Рейн (и прижнувший к ним Бродский).

Горбовский, Куннер, Яша Виньковецкий, Тарутин, Леня Агеев, Лена Кумпан, Лида Гладкая...

Сергея Вольфа.

Соснора.

Володя Губин, Марамзин, Ефимов, Боря Вахтин...

Рид Грачев, Генрих Шеф, Майя Данини, Олег Базунов...

Вадик Федосеев, Инга Петкевич, Валерий Попов...

Олег Григорьев.

Какие имена! Они ласкают мне ухо.

У тусовки есть один закон: есть те, кто на нее пришел. А тот, кто не пришел, того нет.

Впрочем, тогда не было такого слова "тусовка".

Разница возраста в три года казалась пропастью, как разница в поколение.

Абсолютное непризнание друг друга не было враждой.

По национальному признаку люди тогда вообще не разделялись.

Кроме Литера, вообще нигде не писали.

И до нас никто не писал.

Впрочем, про обзриутов еще никто не знал.

У Сергея Вольфа была книжка Заболоцкого "Столбцы". Но он ее никому не давал.

Песня "Когда качаются фонарики ночные..." была написана Глебом Горбовским в 1953 году.

А в 1953-ем вообще еще никто нигде ничего не писал.

Обозревая период 1956 - 1964 годов, я вижу тоже не морды, а лица. Помоложе этих, что набили сейчас этот легальный зал. Попроще, почище, повосторженней. Понеобразованней, конечно. Но тоже еще не злые. Эти, быть может, уже не злые (потому что неприлично), а мы были еще не. Потом отчасти стали. Зала у нас не было. Все больше прогулки вдвоем по Петербургу. Несколько помногочисленной сессии - дни рождений, Новые года и просто так - на кухнях и в коммуналах. Хороший зал нам отвели один раз, не хуже, чем в Литинституте, для Суда над Бродским. Здесь, на суде над нашим младшим товарищем, можно было встретить представителей всех противоборствующих групп.

Но это уже было время распада групп. Не заметили, как все произошло. Вдруг, ни с того, ни с того, ни с сего перессорились. Переобъединились. Но это уже были не группы, а дружба.

В тот период появление на небосклоне славы чуждых имен Естуженко, Вознесенского, Ансенова лишь обсуждалось и осуждалось, без придания им значения. Они меркли в лучах собственной славы. Их печатали, нас не

печатали - какое может быть сравнение! Вот если бы напечатали нас, то все бы и узнали...

Потом прошло пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. Мы умерли, сошли с ума, уехали.

НАС - так никто и не узнал.

Мне всегда это казалось чудовищно несправедливым. Теперь уже то ли нет сил, то ли все равно. Все равно никому ничего не докажешь. Поезд ушел.

В 1956 - 1964-ом мы еще собирали сборники. Тот или иной "Петрополь" ходил по рукам, а потом в руках же и рассыпался. Раз в год, в "Светском писателе" с муками издавался альманах "Молодой Ленинград", но не приносил нам мировой и даже всесоюзной славы. (Мне казалось, что он тогда и перестал выходить, когда мы поразошлись. Оказалось, он выходил вплоть до этого года. Лишь в этом году он уже не выйдет, что наводит на мысль, что наконец-то он стал не один, то есть стал не нужен.)

С 1964-го по 1991-ый, когда мы перестали собирать рукописные сборники, меня время от времени подмывало все-таки его собрать. Представительный! На память о НАС! В 1973-ем, с образованием ВААП, я даже явился туда с предложением его издать "на заграницу". Меня недопоняли. Сил моих не было. В 1979 году намерение это было перебито "Метрополем" (и опять почти без ленинградцев)... С 1985-го пошли новые возможности.

И вот только сейчас, в 1991-ом... И я не могу его собрать.

Во-первых, технически сложно. Все все-таки так или иначе напечаталось. Потом некогда. Нekoгда собирать.

Но и не у кого. Где кого найдешь...

Но и контекста не стало. Он вымер уже и во мне.

Этот сборничек представляет уже лишь мою память. То, что она за меня отобрала. Зато в нем то и так, как никто, кроме НАС, не знал и до сих пор не знает.

В этом сборничке нет ни конкуренции, ни представительства.

Здесь те, кем я восхищался и с кем дружил. Это не мой круг. Это я - их круга.

Здесь только близкие. Хоть и не все.

Но и не только моя фамильная и фамилярная беспринципность в отборе. Как раз, сам по себе, обнажился и принцип.

Это только "ворованный воздух". Так и не "взорванный".

Но тут-таки есть "проколы и прогулы" (Мандельштам).

Андеграунд - ведь это подвал.

Так светло, как в нем, мне после не было. И так легко больше не дмшалось.

Формула "проверка временем" мне ненавистна.

Мы никак никого не старше, никто нас не моложе. Просто мы РАНЬШЕ, а они, так и быть, ПОЗЖЕ.

март 1991 г.

Андрей БИТОВ

Олег ГРИГОРЬЕВ

Он казался нам ребенком. Он был "сэхэшатиком" (учеником средней художественной школы, оттуда исключенным), с одного курса с Эдуардом Зелениным. Он был очень одаренным живописцем, но забросил живопись, увлекшись литературой. Учителями его были те же Голявкин и Горбовский. Однажды, я могу датировать это либо 56-ым, либо 58-ым годом, вслед за очередным разоблачением Сталина, Горбовский мне рассказал: "Представляешь, прибегает ко мне Олежа, глаза вытаращенные, и говорит: "Ты про Сталина слышал, что оказывается?!" - "Уж слышал..." - отвечаю я ему".

Другой раз я могу датировать это 62-ым годом (по выходу "Ивана Денисовича"), Олежа сообщил нам, что пишет роман. Писал он его долго, роман был очень большой. Наконец, написал. Роман был страниц на шестьдесят и назывался "Один летний день". Это была повесть о трех- или четырехлетнем мальчишке в летнем лагере, написанный о недовспоминаемом возрасте. Это был шедевр, произведший на меня лично впечатление большее, чем "Один день..." Это было прекрасно и страшно. Такая живопись, и мощь, и чувство! Как бы я хотел опубликовать его здесь! Но рукопись безвозвратно утеряна.

Сейчас Олег Григорьев достаточно знаменит как поэт. Признан даже самой пост-пост-пост-модернистской волной. Хотя бы как основоположник черного юмора. Ибо это именно он написал:

Я спросил электрика Петрова:
"Ты зачем надел на шею провод?"
Петров же ничего не отвечает,
Висит и только ботами качает.

ШЕКСПОРТ (сонет 301)

Закиня ноги гениально,
Она уперлась в потолок.
А я в углу сидел бездарно,
Пустой, как скатанный чулок...
Вот так, все таинства на свете
Перелистнула мне она.
Теперь я зна... откуда дети,
И мир, и горе, и война.
И наслажденье, и страданье,
Икры любовной волдыри,
Сиянье звезд и мирозданья -
Все где-то там в ее нутри.
В какой-то малой спирохете
Весь мир со звездами и дети.

Я лежу
На пляжу
В розовой рубашке.
А кругом
Как содом:
Ляжки, ляжки,
Ляжки, ляжки,
Складки, груди и зады...
Жарче пляж сковороды.



ВСЕСОЮЗНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
ФОНД ИМ. А.С.ПУШКИНА

№25 (128) 1992 г.

ПЕР
ПО

Б.ИВАНОВ

АНДЕГРАУНД КАК БРАЗИЛИЯ

Верно говорят: "Голова есть — фу-фу-фу"
"о пика" "идеграунд"

Вероника Бодэ

даже возраста настоящего нет — не то
ему 20-25 лет, или считать нужно со
штрафа Зинича. — АНДЕГРАУНД с
большой буквы берет свое начало с III
века, правда, нашей эры. — с Тире Ва-
лувера — индусского Алешковского, а
далее шествуют Франсуа Виюн, Аль-
фред Жарри. — "члов изнача-
18 фам"

ундцам были доступны. Те, кто на
"партию по угам дулись", ну та, выри-
дывалась интеллигенция, с которой
структуралисты заговорили из-под
подполья ночью, творцы "средней ру-
ки" уроки в ГУЛАГе получали капи-
тальный В газете места не хватит все
перечислить: Кловер, Мандельштам
Кузьмин, Харис, Пильняк, Даниил Аг
Солженицын — классическо-
ение лагеря, Шаламов, Гинз-
"ский... — сюда веду —
Н.Гоббаневская, И Рэ
Рочина как
рела

СТРАННАЯ ГАЗЕТА

Всем в Москве известно, что хиппи не читают газет. Но одну газету они все же нежно любят и распространяют по всему городу. Потому что она непохожа на все остальные. Она чудная и не совсем приличная, и предмет ее — в основном всякие диковины и отклонения...

Называется газета "Гуманитарный фонд", издает ее Всесоюзный Гуманитарный фонд имени А.С.Пушкина, созданный три года назад для поддержки некоммерческой культуры.

Сначала сидели в подвале, в переулочке близ Зачатьевского монастыря. Потом переехали в Малый Левшинский переулок, в большой желтый дом, но тоже в подвал. Ибо где же еще располагаться редакции газеты, посвященной культуре андеграунда?

Было, как водится, темно и душно. Двери и окна в толстых решетках. Поначалу тут роились крысы и огромные бло-

8
НОМЕРЕ
ЕРЕЗАННЫЙ ПОЧТИ
МОЛАМ, ПАПА ПОЛЗ
ПОПЕРЕК ПЕРРОНА.
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
ИОАННА ЦАРЬ-ПУШКИНА
стр. 4



К. ЗВЕЗДОЧЕТОВ "Че Гевара"
(из каталога выставки "Бинационал")

хи. Иногда заливало подвал кипятком — тогда в редакцию спускались по очереди, деля на всех одну пару резиновых сапог. Но, слава Богу, хоть такая крыша над головой есть. Да еще в самом центре Москвы.

У "ГФ" — недолгая, но бурная история. С 88 года начала выходить ксероксная "Экспресс-информация" по новой культуре. Ее дело продолжила газета "Центр", но просуществовала недолго — по выходе пяти номеров ее запретили. Тогда хитрые издатели сменили вывеску — так родился "Гумфонд" — и с самого первого дня зажил, что называется, вопреки здравому смыслу.

Прежде всего, газета никогда не окупалась, и денег на ее издание никогда не было. Директор фонда, Леонид Жуков, не раз уговаривал главного редактора Михаила Ромма "Гумфонд" закрыть — газета ему ничего, кроме неприятностей, не приносила. Было несколько попыток "захвата власти" и смены главного редактора, но каждый раз оказывалось, что захватывать-то, собственно, нечего: доходов не было, постоянной издательской базы не было, был только маленький редакционный коллектив да тысяча подписчиков, но это, как однажды сказал Ромм, "ценности скорее духовные, а потому неотъемлемые".

Кроме того, андеграунд временами бывает несколько игрив. А советская цензура на уровне типографий и Госкомпечати все подобные проявления рассматривала как "порнографию". А ведь было еще горбачевское постановление "О защите общественной нравственности"...

Еще в 90 году редакция заметила, что стоит только начать газету регистрировать, обращаться в инстанции, как тут же от нее отказывается очередная типография. А бывало, что и типография жаловалась "наверх": печатают, мол, гадости про Ленина, — имелась в виду "Маленькая лениниана" Венедикта Ерофеева.

В ноябре 90 года в редакцию позвонила дама: "Вы вот тут пишете, что занимаетесь культурой андеграунда. А я позвонила в Институт русского языка, и мне сказали, что андеграунд — это самые мерзкие и низменные явления, всякая там порнография. Так что не знаю теперь, как вас и регистрировать..." Она все же зарегистрировала "Гумфонд", о чем потом очень жалела, звонила снова и сокрушалась по поводу "матерщины и порнографии". Не объяснишь ведь такой даме, что газета просто разговаривает на языке, адекватном тем явлениям культуры, о которых рассказывает, что это не эпатаж и уж, конечно, никакая

ПОЭТ ГЕНРИХ САПГИР

"Мы — шестидесятники, от которых становилось дурно всем остальным шестидесятиникам. Тогда, в годы нестойкого расцвета, мы несли некий общий заряд, огличивший нас от либеральной интеллигенции 60-х годов, сэжам, от СМОГИстов или от Вознесенского с Егущенко. Они были писатели, а мы были шпана. Мы — мамонты, которые оказались ближе через поколение — не к детям, а к внукам. Наша "лианозовская" группа, группа "Конкрет" — это Холин, Лимонов, Сева Некрасов, ну, Мамлеев, скажем. Следующее поколение дружило с нами, выпивало с нами, но понимало, что они другие. А потом пришли "внуки", с которыми у нас есть контакт, есть духовная общность.

Возможно и сейчас есть аналогичные фигуры, они даже непременно должны быть, но я допускаю, что не знаю их. Работа со словом идет постоянно, и есть большая надежда на лучшее. Новый виток вечного духа происходит тогда, когда дух обретает новую гармонию. Литература обязательно должна быть авангардной, чтобы потом стать классической. Мой духовный учитель Евгений Леонидович Кривиницкий говорил: "Жизнь — бред, мир — балаган". Всяма красивое ресусудение, вы не находите? Конечно, мы чувствовали себя инородными телами в брехе социализма, с таким зарядом никакая советскость я уже не мог

не порнография. И даже не эротика...

Что же такое андеграунд? Существует ли он в России сейчас, в новых условиях, когда сняты все политические запреты? Что такое новая, независимая, параллельная культура? Чему она параллельна теперь, когда почти исчез официоз? В чем разница между терминами "авангард" и "постмодернизм"? Эти и многие другие вопросы занимают авторов "Гуманитарного фонда".

Газета ведет полемику с присяжной либеральной критикой, захватившей толстые журналы и склонной, в зависимости от настроения, то покровительственно похлопать "новую культуру" по плечу, то полить ее грязью. "Гумфонд" бьют как "справа", так и "слева". Но в том-то и дело, что разборки правых и левых от культуры "Гумфонду" совершенно безразличны. "Гуманитарный фонд" постоянно отслеживает выставочный процесс, освещает жизнь галерей, занимающихся авангардом. На некоторое время конкуренцию составила специальная газета "Вернисаж", но вскоре она закрылась.

Вышло два рок-номера. В последнее время номера составляются, в основном, тематические — театральные, музыкальные, художественные, литературные. А в каждом из них — ко-

РАССКАЗЫВАЕТ:

поддаться никогда. Но мысль об эмиграции мне никогда всерьез не приходила. Москва — мое гнездо, я здесь дома. Со мною могла идти речь только о духовном удалении от отщепенной идеологии, о внутренней, так сказать, эмиграции.

Да, наверное, нашу страну и нас вместе с нею ожидают тяжелые, страшные времена. В этом здешнем рейхе есть что-то роковое. Но качество литературы мало зависит от качества времени. У людей в годы застоя создавался такой, скажем, стереотип, что вол, мол, есть советская литература — неважная, а антисоветская — хорошая. А она, может быть, такая же неважная, как и советская. В литературе, да и в жизни, я скорее скептик, чем оптимист. Лучше подвергать все сомнению, чем всему верить безоглядно. Песимизм — достойное чувство в наше страшное время. Но я — песимист, не теряющий надежды. У японских поэтов, сейчас не вспомню у кого, есть такая строфа:

"Где сверкает меч —
Не цвести искусству.

Где цветет искусство —
Не сверкать мечу".

И вот, наблюдать за цветением искусства, вносить свой цвет в общую гамму — это уже само по себе придает невольную надежду на лучшее, надежду, которую, впрочем, я и не терял никогда.

ДЕДОВЩИНА ЛЕВЫХ

Когда нам исполнилось шестнадцать, когда мы одели джинсы и выучили наизусть "Суперстар". Достали ксерокс Солженицина и переписали в школьную тетрадку стихи Цветаевой, наши отцы — шестидесятники боемы находились в зените славы и недосыгаемости. Они были красивы, в меру негибемы, пророчествовали направо и налево с самым монументальным видом, без напряжения подставляли друг друга. Мы называли их тогда "разночинцы на жигулях". Они топали ножкой перед мувром государственной машины, в основном на столько, на сколько это им ничем не угрожало, и интересовались нами постольку, поскольку мы были либо хорошенькими девочками, либо мальчиками, готовыми бегать за водкой и доверчиво слушать про то, что "в любви цивилизованной стране они бы..."

роткая информация отовсюду: новости звукозаписи, издательские, самиздатские, новости тусовки...

Еще — стихи и проза. В основном неизвестных авторов. А из известных на страницах "Гумфонда" появляются имена Виктора Ерофеева, Владимира Сорокина, Нины Искренко, Льва Rubinштейна, Владимира Леоновича, Константина Кедрова...

20 августа 91-го мы сидели в редакции и думали, в какую страну лучше бежать и выпустят ли теперь... Мы уже знали, что на "Гумфонд" должны завести уголовное дело. Бывшая Госкомпечать не потерпела-таки сквернословия и послала несколько номеров газеты в Прокуратуру, о чем с удовольствием известила нас в письме. В другое время, может, и обошлось бы, а теперь...

В тот день серый от страха директор типографии привез в редакцию тираж очередного номера, целиком состоявшего из "срамной лирики" Пушкина. В тот же день поэт Бонифаций раздал несколько сот экземпляров на баррикадах у Белого Дома. "Вольнолюбивая лирика Пушкина!" — кричал он. Хватали даже лучше, чем листовки демократов. Так и "Гумфонд" внес свою лепту в политическую борьбу.

Уголовное дело на нас все же завели сразу после провала путча, в самый "разгул демократии". И, конечно, не в мате было дело. Матерились тогда уже все: от "Огонька" до "Коммерсанта" — открытым текстом. Просто у нас в одном фельетоне, опубликованном еще весной, рядом с известным словом из трех букв и в непосредственной связи с ним упоминался Пер-

вый секретарь МГК КПСС. К этому номеру присовокупили еще парочку с "инвективной лексикой" — и там, куда это послали, уже просто не могли не завести дела.

В первый раз (видимо, для устрашения) следователь явился в редакцию с милиционером и долго допрашивал Ромма. Потом дело то закрывали, то открывали. Говорят, кто-то (сверху? сбоку?) давил на прокурора, а тот — на следователя. Кончилось все это экспертизой на кафедре русского языка филфака МГУ. Мы совсем уже приготовились сушить сухари, но как ни странно, эксперт разразился весьма обтекаемым текстом, что нехорошо, конечно, материться в газете, но ведь сам Пушкин, сам великий Пушкин, и т.д. и т.п. . .

Самое смешное, что мы к тому времени давно уже мата в открытую не употребляли, а ставили стыдливые точки, — нас об этом просила типография. А надежные и недорогие типографии на дороге не валяются. . .

С тех пор — пошло-поехало. Слово "суд" звучит теперь у нас частенько. То демократическая рок-пресса обвиняет нас, после публикации одного "крутого текста" в антисемитизме — и это при том, что у нас редакция на три четверти состоит из евреев. То автор кричит, что мы украли у него произведение, на публикацию которого он дал согласие, да потом передумал. То известный художник, в адрес которого была отпущена неосторожная шутка, собирается предъявить нам иск на полмиллиона долларов "за клевету" . . .

Но мы никогда не ориентировались на скандал. Он сам нас находит.

По их рисунку мы должны были быть такими же как они, только поплотнее. Долгое время все так и вышло, но мы выросли, у нас появились седые волосы и сопутствующие этим седым волосам новые углы зрения. Снятие запретов явилось толпой толстых королей из русского зарубежья, некоторые наскребли на финансовый листок (Солженицын, Набокова и Бродского мы и до перестройки выучили наизусть), а те, кто остался с трагической маской на лице, в основном неплохо пристроились вокруг литературы.

Вот, например, Марк Захаров, диск-жокей перестройки, в незапамятные времена стащил деньги и зал на поддержание новой драматургии, потом закрыл с кислым лицом двадцать два спектакля, деньги и зал очень органично оставил собственному театру, и ничего, спит спокойно. Даже партбилеты бросает в огонь после провала путча перед камерой телевидения, проглатывает Филлипповна, какая-то Или все эти исто-

Ко всем прочим бедам, у газеты — шизофрения. Я имею в виду некое раздвоение ее коллективного сознания. Не только отдельные номера порой резко отличаются один от другого по концепции, но иногда даже статьи в одном номере. Здесь разговоры поэта с Богом могут соседствовать с пиететным упоминанием задницы, а перебранка Толстого с "Континентом" — перемежаться статьями о поисках новой духовности.

Тесно авторам и редакторам на страницах "Гумфонда". Ведь у него всего четыре полосы. Видимо, не одна нужна такая газета, а несколько.

Но самое странное то, что издания, выходявшие огромными тиражами, гибнут одно за другим, а маленький "Гумфонд" в последние полтора года выходит железно — каждую неделю. Не выходит журнал "Искусство", закрывается "Советская культура", закрывается, потеряв высоких покровителей, "Наше наследие"... А "Гумфонд" выходит...

Я знаю, что денег нет, знаю, что цена годовой подписки в четыре раза ниже себестоимости, — и совершенно не понимаю, почему мы еще не закрылись. Ромм утверждает скромно, что это — "благодаря его хитрости".

Итак, тираж — полторы-две тысячи. Большая часть подписки — бесплатная.

А читают "Гумфонд" в нескольких сотнях городов бывшего Союза и в 50 крупных городах Европы и Америки. А еще — в поселке "Коммунист" — если его еще не переименовали...

Вообще "Гумфонд" — это эксперимент. Это — "гигантская инсталляция и непрерывный хэппенинг". Все в газете делают

рические лаборатории Ермоловские, Пушкинские, все эти семинарики и фестивальчики сплешивым шестидесятиком в красном углу, котрый пьет водку, тянет ручонки к семинаристкам и, при виде пьес умоляет: "Уберите эту гадость!" А "новая волна", которая вменяет нам в вину, что нас мало били? Да где же мало, господа? Если б мало, мы б не пошли в писатели! Фрейд надо читать и Юнга.

Я похолодела, когда на учредительном съезде левого Союза писателей Черныченко начал с трибуны громить Лимонова за безнравственность! Господи, ну что ему Лимонов-то сделал? что он Гекубе? А зал на девяносто процентов возроста брежневского политбюро захлебнулся овецией. Это для них-то Лимонов фигура "нон грата"? Почаще бы смотрелись в зеркало!

Умилительна ненависть шестидесятников к социализму, из которого они сделаны (как известно, "тигр состоит из переваренного барана"). Вот, например, поэт Рашенцев объяснял мне десять лет тому назад, что в

поэты: пишут, редактируют, рассылают, продают. И если новый сотрудник приходит "с улицы", все равно потом оказывается поэтом. Ну, а что хорошего могут сделать поэты?.. Так что, вдвойне интересно, чем это все кончится. Мы ведь и сами не знаем, сколько нам еще удастся продержаться...

А ПУШКИН - ТО ПРИ ЧЕМ?

Всесоюзный гуманитарный фонд имени А. С. Пушкина выполняет весьма благородную задачу: оказывает материальную, юридическую, консультационную помощь начинающим и, как правило, нуждающимся прозаикам, поэтам, драматургам, художникам, то есть тем, кто начинает в «самиздате». Дело — благородное...

Настораживает, однако, другое — содержание газеты «Гуманитарный фонд», которая издается под эгидой ВФФ имени А. С. Пушкина. Нет, здесь вы не найдете ни серьезных литературных исследований творчества Александра Сергеевича, ни рассуждений об эпохе, в которой творил поэт, даже бессмертных стихов Пушкина здесь не печатают. Газетные полосы «гуманитарии» предоставляют новоиспеченным «гениям», кото-

рые, как бы соревнуясь между собой, пичкают читателя низкопробными стишками эротического содержания, прозой, не отличающейся целомудрием, и фотографическими изображениями половых органов.

Дабы не быть голословным, позволю себе (да простит меня читатель!) процитировать стихотворение, напечатанное в одном из номеров газеты:

Под туловищем
есть загадочная штука.
А впрочем, не у всех,
беспорно у меня
Наличествует он,
и целая наука
Упрямым управлять.
Такая вот фигня.
Как-то не сочетается эротически-натуралистическое содержание газеты с именем человека, который проуждал в нас высшие, а не низменные чувства.
«Такая вот фигня» получается.
Наш корр.

Голос противника

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ». 06.05.91. № 18 (1474)

Союз писателей прилично вступать, когда позовут. Кто позовет? Марков? Трогательная мизансцена: сидит Марков в собственном кабинете в обществе вертушки и думает: "А не позвать ли Рашенцева? Ах, нет, пожалуй, лучше через пару месяцев..." А с другой стороны поэта Седякова без тени юмора вещает о том, что причастность поэта Еременко к Литературному институту делает его представителем официальной культуры. Как будто подвальная тусовка сама по себе делала кого-то талантливым и "чистым"; как говорилось в годы моего обучения, "настоящий талант не испортит даже Литературный институт".

Ужасно меня огорчает деление Союза писателей и тот серез, которым эта военно-патриотическая игра "Зарница" сопровождается, хоть я и написалась "налево". Не желаем быть в одном союзе с Прохановым!

— кричали на учредительном собрании левые. Проханову нравится социализм, а Черниченко нравит-

ся капитализм; Проханову не нравится, что Черниченко нравятся капитализм, а Черниченко не нравится, что Проханову нравятся социализм. Вот вам урок терпимости. Что хуже: социалистическое сладострастие Проханова или представление о свободе как о четвертьсвободе Черниченко. — Тема для отдельного исследования, но Союз писателей создан и существует не по идеологическим и эстетическим, а по соборным принципам, и вовсе не счастье быть в одних рядах с левыми или правыми влечет в него юные дарования. Опять же андеграунд, андеграунд считает левых шестерками, а левые считают андеграунд неудачниками, и все это вместе составляет отечественную интеллигенцию в самый неопределенный и тяжелый момент истории.

Строки эти, конечно, будут восприняты адресатом шестидесятиком как костер войны, ибо прivityк адресат воинственно ненавидеть. А это на самом деле рассказ о несостоявшейся любви, о поправных иде-

лах. Как сказал классик: "Прикасаться к кумирам опасно и вредно. Их позолота остается на ваших пальцах".

Меня трижды не принимали в Профессиональный комитет Московских драматургов. Приняли на четвертый раз. Принимали в виде исключения, без единого рубля гонорарных справок, так сказать, "за талант" из благотворительных соображений. Да и где выпуска Литинститута с тремя пьесами, запрещенными к исполнению, с двумя детьми-первоклассниками и без всяких покровителей могла взять эти справки? Каждый раз на приемной комиссии громко-кричал один, ныне покойный драматург, он кричал так, что его каждый раз увозила скорая с предынфарктным состоянием. Это был человек, отсидевший двадцать пять лет в лагерях за концепт антисоветских анекдотов в записной книжке. Логика его крика непонятна мне до сих пор, он кричал: "Мы в лагерьх сидели, а они на все гово- товенькое пришли!!"

Ну, да простим нашим левым их родительскую несостоятельность. Тоталитаризм лепит кастратов, у кастрата нет инстинкта продолжения рода. Он — тулпиковая ветвь. Однако, перефразируя поговорку про дурака: "Кастрат, понявший, что он кастрат, уже не кастрат", простим, и напомним им, что правые, "черная сотня" существуют в большей степени в их воспаленном сознании, чем на самом деле. На самом деле там такие же кастраты, только в другой маске. "Полубите их черненькими!" Полубите нас. Полубите друг друга. Полубите, наконец, самих себя. Пренебрежение следующим поколением — это пренебрежение будущим. Мы пришли, мы уже есть, за нами идут новье. И если вы не победите в себе ненависть, накопленную по отношению к социализму, которого давно нет, если вы не поймете, что она трансформируется в ненависть по отношению к нам, вы захлебнетесь в собственной желчи вместе со своими письменными столами.

* Статья М.Арбатовой ("Гуманитарный Фонд" №47) воспроизводится фрагментарно. ("Синтаксис").

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ИОАННА ЦАРЬ-ПУШКИНА

Мысль по изучению фольклора:

Фольклор — удивительно интересная вещь. Но современные ученые подходят к нему совсем не с той стороны. Например, у них даже нет подходящей классификации для разных форм фольклора. Основываясь на проведенном исследовании (полевые сезоны 1973-76), на суд ученого мира предлагаю следующую простую классификацию.

1. Фольклор группы "О". (принадлежащий скорее сельскому быту, чем городу, свежий, экспансивный, порой грубоватый, но в то же время содержит обращения к классическим русским церковным темам: весьма широко распространен).

Пример.

Однажды, обходя окрестности Онежского озера отец Онуфрий обнаружил одинокую обнаженную особу — Ольгу.

— Ольга, отдайся! Озолочу! Особняк облигациями оклею!

— Обманешь, отец Онуфрий! Отыды!

— Окстись, Ольга! Опомнись!

Ольга отдалась. Однако Отец Онуфрий обманул Ольгу. Оттого обиженная Ольга оторвала отцу Онуфрию окаймленный отрок.

2. Фольклор группы "П". (принадлежащий скорее городской жизни, чем селу, более скованный, наводящий грусть, печаль и думы о тишине всех человеческих стремлений, иногда даже трагический; распространен гораздо меньше).

Пример.

Папа пошел пить пльзенское пиво. По пути попал под пассажирский поезд. Перерезанный почти пополам, папа полз поперек перрона. Подошел постовой:

— Перерезанный, почему позади печенка? Предъявите паспорт!

— Паспорт пропал под паровозом, — просто папа.

— Перерезанный, пройдемте. Пусть полковник подтвердит, почему пропал паспорт.

— Последняя просьба, — прошептала папа. — Похороните, пожалуйста, посреди площади, перед пивной.

Потом папа помер.

3. Фольклор группы "С" (происхождение не установлено, возможно, принадлежит элитарной культуре: отличается динамичностью, многоплановостью, часто энигматичностью, свидетельствующей о переходе в иной мир, чрезвычайно редко встречается.).

Пример.

Соловей свистел среди сирени. Сукин сын сильно стукнул соловья сухим сучком. Соловей сразу сник. Сукин сын смеялся:

— Сдох, сопливый!

Эти строки не заденут лучших из вас, потому что у них и так комплекс вины перед нами: не заденут худших, потому что они давно не слышат ничего, кроме звона валюты; они заденут средних, которых тыма и тыма, у которых на лицах написано обращение к нам: "Подождете! Мы своего часа дольше ждали!"

Мария Арбатова

БОНИФАЦИЙ

(Лукомников Второй —
Герман Геннадьевич)

Столпчик

Помню: лето, помню: мустанги бегали и кусали бедную голловушку, были, знать, голодные, сволочи проклятые, гады, оп-ля-ля!

Скорее! Скорее! Хватай авторучку!
Скорее собачку ввиду нарисуй!
Под этим стихом! Беспризорную Жучку!

И в носик скорее ее поцелуй!



№ 1 МАРТ 1992

ЭТОТ НОМЕР
УЖЕ СТАЛ БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РЕДКО-
СТЬЮ



Газет-то много — столько и не нужно. Все знают, как неприятно расплазавшиеся пакеты газет под шафрами, на подоконниках и холодильниках. И зачем день ги страчивались? — газеты или выбрасываются, или, в лучшем случае, вешаются в сортир. Новости, конечно, штука хоть и неприятная, но интересная; только в газетах напечатаны несомненно устаревшие новости — скорее уже известные из телевизора и радио. Новости мелочливой давности вызывают раздражение (если только читатель не был эту неделю заложом). Интересны газеты разве что ушедших эпох. "Митьки-газета" куда более нужна вещь, чем какая-нибудь газета, по трем причинам:

1. Оформление. Это скорее не газета, а журнал, или даже произведение искусства. Сохранилась почтенная традиция делать журнал гораздо значительнее своего содержания. Таковы многие журналы начала века. Отчетливое для каждого объема этих изданий просто вынуждает читателя перелистывать и любоваться расположением текста и неожиданностью оформления. Такие издания чаще всего делаются в убыток себе — в подарок читателю.

2. Содержание. Узнать правду о митьках можно только в этой газете.

3. Смысл. "Митьки-газета" — это газета, которая меньше озабочена тем, кто чего удивил, или как наше правительство сегодня попухлолось и даже тем, куда это наш хлебшко подевался. Хотелось бы, чтобы новости нашей газеты сообщали зачем жить на свете, и зачем быть хорошим, и зачем растут цветы.

ЗАЧЕМ
ВАМ
НУЖНА
ЭТА
ГАЗЕТА.



"МИТЬКИ-ГАЗЕТА"

МИТЬКИ НИКОГО НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ!



”МИТЬКИ-ГАЗЕТА”

Газет-то много – столько и не нужно. Все знают, как неприятны расползающиеся пачки газет под шкафами, на подоконниках и холодильниках. И зачем деньги страчивались? – газеты или выбрасываются, или, в лучшем случае, вешаются в сортир. Новости, конечно, штука хоть и неприятная, но интересная; только в газетах напечатаны немного устаревшие новости – свежие уже известны из телевизора и радио. Новости недельной давности вызывают отвращение (если только читатель не пил эту неделю запоем). Интересны газеты разве что ушедших эпох. ”Митьки-газета” куда более нужная вещь, чем какая-нибудь газета, по трем причинам:

1. **ОФОРМЛЕНИЕ.** Это скорее не газета, а журнал, или даже произведение искусства. Сохранилась почтенная традиция делать журнал гораздо значительнее своего содержания. Таковы многие журналы начала века. Отчетливое для каждого обаяние этих изданий просто вынуждает читателя перелистывать и любоваться расположением текстов и неожиданностью оформления. Такие издания чаще всего делаются в убыток себе – в подарок читателю.

2. **СОДЕРЖАНИЕ.** Узнать правду о митьках можно только в этой газете.

3. **СМЫСЛ.** ”Митьки-газета” – это газета, которая меньше озабочена тем, кто чего учудил, или как наше правительство сегодня лопухнулось и даже тем, куда это наш хлебушко подевался. Хотелось бы, чтобы новости нашей газеты сообщали зачем жить на свете, и зачем быть хорошим, и зачем растут цветы.

В. Шинкарев





АРХИВ: О СОСТАВЕ ГРУППЫ ХУДОЖНИКОВ "МИТЬКИ"

Из песни слова не выкинешь. Какую красивую схему можно было бы сделать! Но нет, вот она, исторически сложившаяся ненастным осенним вечером в мастерской Флоренского.

Документ сопровождается следующим торжественным заявлением: „Этот документ является абсолютным и единственным иерархическим перечнем митьков и того, что их окружает.

Документ этот принят на собрании митьков в мастерской А. Флоренского 20. 10. 1991

Верность документа подтверждается подписью на каждом листе секретаря собрания А. Филиппова. Документ окончательный.”

Ценность схемы в том, что она действительно включает в себя всех без исключения лиц, могущих на тот день считать себя митьками, вплоть до таинственного „друга Фиделя”, Марьяны Цой и Светланы Мусатовой. Всякое иное лицо, продающее свои картины или литературу и использующее при этом копирайт „Митьки” является самозванцем.

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ „МИТЬКИ”

1. Ван-Гог
2. А. Арефьева
3. В. Шагин
4. Р. Васин
5. Ш. Шавац
6. В. Громова
7. Н. Жилина
8. И. Кириллова
9. О. Фронтинский
10. Б. Козлов
11. Г. Устюгов
12. И. Сотников

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. К. Минин
2. Д. Пожарский
3. Н. Полицкий
4. К. Батынков
5. В. Щеткин

ГРУППА ХУДОЖНИКОВ „МИТЬКИ”

1. Д. Шагин
2. В. Шинкарев
3. А. Флоренский
4. А. Горлея
5. А. Филиппов
6. А. Семичев
7. И. Чурилов
8. В. Тихомиров
9. Вл. Тихомиров
10. А. Кузнецов
11. О. Флоренская
12. В. Яшке
13. В. Голубев

ЗАРУБЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Толстый
2. Хаостенко
3. Синявский
4. Розанова
5. К. Кузьминский
6. В. Некрасов

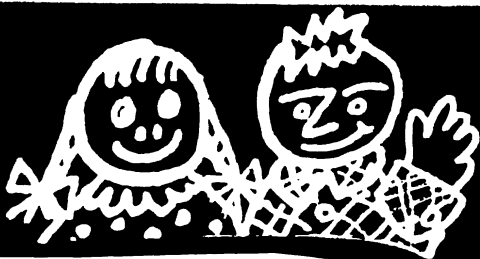
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ

1. А. Пушкин
2. В. Ерофеев
3. О. Григорьева

МУЗЫКАНТЫ

1. Моцарт
2. А. Башлачев
3. В. Цой
4. М. Науменко
5. Б. Гребенщиков
6. А. Романов
7. Ю. Шевчук
8. А. Макаревич

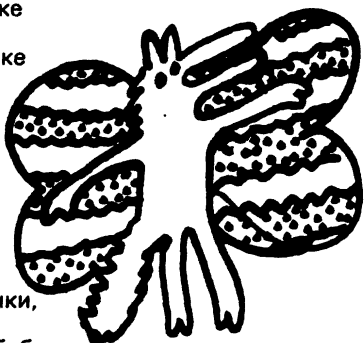
МИТЬКИ ДЕТЯМ



Владимир УФЛЯНД

НЕУВЯДАЕМАЯ ИСТОРИЯ

Опять малышку в красной шапочке
Послали к бабушке больной.
Вдруг серый волк подобно бабочке
Из чащи выпорхнул лесной.
У Красной шапочки наивной
Он все мгновенно разузнал.
И в голове его противной
Коварный план родиться стал:
Старушка вряд ли молода,
Но, очевидно, все ж съедобна,
Хотя не так как прежде сдобна
В свои преклонные года.

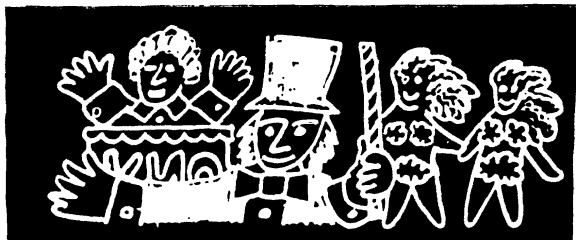


А бабушка при свете лампочки,
Скучая, грызла карамель.
Вдруг серый волк подобно бабочке
Впорхнул в незапертую дверь.
Весьма рассержена на то,
Что он не постучался в двери,
Двумя приемами дзюдо
Старушка укротила зверя.

Волк постучаться в дверь забыл.
И этим он себя сгубил.
Не вышла у бедняги шутка,
Зато для внучки вышла шубка.
Не будет он теперь
Входить без стука в дверь.

рисунки

Андрея ФИЛИППОВА





РОМ

Иван лежал с открытым ртом
 В фуфайке на спине,
 И сверху вниз кубинский ром
 Лить приходилось мне.
 Вдруг замечаю — что за черт?
 Осталось мне так мало!
 Я лью и лью, а он уж мертв —
 Грамм восемьсот пропало.



С бритой головой,
 В форме полосатой
 Коммунизм я строю
 Ломом и лопатой.

Прохоров Антон
Боробьев кормил.
Бросил им батон -
Десять штук убил.



Говорящий ворон на окошко сел
И мое жилище с грустью оглядел.
Он меня не очень оторвал от дел -
Не сказав ни слова, дальше полетел.

30 апреля в больнице умер наш друг Олег Григорьев. Просто вспомним, рассказывать долго не нужно, потому что его знали все: все художники, поэты и музыканты, божжи и дети, очереди у пивного ларька и милиционеры всех уровней.

"Зная, казаться незнающим — это совершенство", а он таким казался, и робеющий гость в компании держался поближе к нему — самому простому, без тени снобизма; и только по случаю открывалось что Олег замечательный рисовальщик, представитель газа-невской культуры; редкий знаток музыки, буквально любое симфоническое произведение угадывающий по нескольким тактам, филолог и удивительный поэт, умевший любую грязь обратить в золото.

Он казался беззаботным и дверь в его квартиру не запиралась неделями — он просто не удостоивал внимания свое имущество, свои болезни, бесконечную борьбу с милицией; не тратил сил на самооборону.

Многие поэты считали, что главное в стихотворении — две последние строчки, и его последние стихотворения стали главными. Может, и кощунственно это говорить, но его жизнь выглядит законченным блестящим произведением — кроме этой смерти; смерти, похожей не на точку или восклицательный знак, а на оторванный край страницы.

В. ШИЖКАРЕВ

ПЬЕМ ПЫТАЯСЬ НЕ УПАСТЬ МЫ
БУТЫЛКУ ЗА БУТЫЛКОЙ,

ЕСТЬ ХОТИМ, НО НЕ ПО-
ПАСТЬ НИ ВО ЧТО ДРО-
ЖАЩЕЙ ВИЛКОЙ



Я СПРОСИЛ ЭЛЕКТРИКА ПЕТРОВА:

— ДАЯ ЧЕБЬ ТЫ
НАМИТАЛ НА ШЕЮ
ПРОВИД?



ПЕТРОВ МНЕ НИЧЕГО НЕ ОТВЕ-
ЧАЕТ, ВИДИТ И ТОЛЬКО БОГАМИ
КАЧАЕТ.



ДЕВОЧКА КРАСИВАЯ В
КУСТАХ ЛЕЖИТ НАГОЙ,
ДРУГОЙ БЫ ИЗНАСИЛОВАЛ,
А Я ЛИШЬ ПИУЛ НОГОЙ.



С КУСТАМИ СОВСКОМ ПИЛА
МЫШКОЙ ПРОБЕЖАЛ СТА-
ВУК ЗА МАЛЫШКОЙ

Пьем, пытаюсь не упасть,
Мы бутылку за бутылкой.
Есть хотим, но не попасть
Ни во что дрожащей вилкой.

ШД

Рис. Д. Шагина



**Девочка красивая
В кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал,
А я лишь пнул ногой.**

Олег Григорьев

СООБЩЕНИЕ:

В ночь с 11 на 12 июля Дмитрий Шагин бросил пить и курить. Ранее бросили пить В. Шинкарев и А. Конь. Митьки призывают всех людей последовать их примеру.

Д. Шагин 20 июля 1992 г.



Гравюра В. Шинкарева

Ем восточные сласти,
Сажу на лавке, пью кефир.
Подошел представитель власти,
Вынул антенну, вышел в эфир:
- Сидоров, Сидоров, - я Бровкин,
Подъезжай к Садовой, семь
Тут алкаголик с поллитровкой,
Скоро вырубится совсем.
Я встал и бутылкой кефира
Отрубил его от эфира.

Олег Григорьев

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

ВАЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Каждому, совершившему доброе дело, следует немедленно оповестить редакцию „М.-Г.“ о конкретных параметрах осуществленного Вами доброго дела.

Говоря простым, человеческим языком — надо быть хорошим, и наша газета об этом сообщит.

Начиная со следующего номера газета будет публиковать список конкретных и небанальных добрых дел — оценивать степень нажористости которых будет Дмитрий Шагин лично.

Победитель пожирует с Митьками.



В. Голубев «Митьки отдают Ван-Гоггу свои уши» — яркий пример конкретного доброго дела

МИТЬКИ НИКОГО НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ! УРА!

Дорогая Марья Васильевна!

Меня весьма смутила одна из публикаций в №32. Смутила настолько, что чувство это не прошло и после нашего с вами разговора в Москве, несколько дней назад. Итак, речь об эссе Олега Давыдова "Кто разбил голубую чашку?"

Вам известно, что я не экономист и ничего не понимаю в том, как надо реформировать тоталитарную экономику. Более того, о Егоре Гайдаре и его экономической политике могу судить тоже лишь как обыватель. И как обывателю мне очень многое не нравится. Скажем, — беззащитность детей и стариков при таком пути перехода к рынку, какой избрал для своего правительства (то есть, простите, для страны, конечно!) скачущий впереди капитализма всадник. И не то, чтобы я уж совсем молчал: еще зимой довольно резко высказывался по этому поводу в "Московских новостях".

Смущение мое, оно, скорее, эстетическое, нежели гражданское. Как-то странно и противно то, что традиции политических доносов живы. И уважаемый мной Олег Давыдов на синтаксических страницах умножает славу этих традиций, лишь заменив классовый подход "генетическим". И под заgrabное рукоплескание отцов советской карательной психиатрии творчески обогащает их наследие опытом венского аналитика. Страшненький гибридик получился, а, Марья Васильевна?

Страшненький. И с возможными далеко идущими следствиями. А потому и заниматься анализом сих благовоний нет у меня ни сил, ни желания. Боюсь только, что славные "День" и "Правда" переймут опыт: на нашу полуинтеллигенцию именно такой метод лжи должен действовать куда эффективней, чем даже "знаковая шизофрения" Дмитрия Васильева.

Спасибо за публикацию. Без иронии — спасибо. Вирус вы-

веден, и хорошо, что мы имеем возможность изучить его в лабораторных условиях синтаксической нашей пробирики.

Мой прогноз: избличительно-карательный "метод Давыдова" еще поспорит со СПИДом. Он слишком прост и доступен читающим массам эпохи Кашпировского и нео-окультизма. Для дела всеобщей фашизации одной шестой суши это скрещенные методов Снежневского и Вышинского с Фрейдом весьма перспективно.

А теперь давайте искать вакцину. Искать, даже если Олег Давыдов написал стебовый памфлет, а не что-то иное. Как мы помним, в истории уже не раз памфлеты становились черновиками для будущих "протоколов сионских мудрецов". Очень удивлюсь, если ныне сначала охранка, а потом и идеологи красно-коричневых не подберут осколков "голубой чашки" нашего автора.

Андрей Чернов
25 августа 1992

Многоуважаемый Андрей Чернов, помилосердствуйте!

Или хотя бы только вдумайтесь в то, что Вы написали:

"Традиция политических доносов". Может создаться впечатление, что я настроил донос на одинокого борца за народное счастье, и теперь его, бедолагу, власти сотрут в порошок. А между тем речь идет о премьере. Если это донос, то лишь в смысле: "Борис, Борис!..., отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет".

"Метод лжи". Но ведь то, что я написал, основывается на фактах, опубликованных в печати, и еще — на известной теории, которая, правда, до сих пор использовалась только для объяснения уже случившегося, а в данном, гайдаровском, случае сработала еще и прогностически. Сегодня-то уже все, я надеюсь, понимают, что ничего, кроме бессмысленных страданий, политика моего героя населению не принесла.

"Избличительно-карательный "метод Давыдова" еще поспорит со СПИДом". Андрей, побольше целомудрия, и ничего с

вами не случится. Или Вы заразились от чтения моего текста? "День" и "Правда" переймут опыт", "дело всеобщей фашизации", "черновики для будущих "протоколов сионских мудрецов". Очнитесь, ведь Вы в "синтаксической пробирке" мою статью обнаружили, а не в каком-нибудь "коллективном организаторе".

"Скрещение методов Снежевского и Вышинского с Фрейдом", "страшненький гибрид", "карательная психиатрия", "охранка" и т.д. Простите, о чем Вы — о метафизической идее "охранки" вообще или конкретном Министерстве Безопасности России, которое мой герой должен контролировать?

Не стоило бы отвечать человеку, говорящему "на языке травмайных перебранок", но меня растрогала Ваша забота о "нашей полуинтеллигенции", лишенной, по *Вашему*, здравого смысла. Ну что же, я признаю: то, что Вы называете "методом Давыдова", можно использовать и в дурных целях. Но ведь и огонь, на котором готовят пищу, можно использовать в дурных целях. И палку, которую подобрала обезьяна, чтобы стать человеком, — тоже. Да и все, что угодно. Так что же, из страха — как бы чего не вышло! — прикажете отказаться от всего нужного человеку? Нет.

Вы правильно говорите: надо искать вакцину. Правда, Вы признаетесь, что у Вас "нет сил" "заниматься анализом" (это очень заметно). И все-таки надо найти в себе силы — самому поискать вакцину, что-нибудь понять, вместо того, чтобы ломать стулья.

С пионерским приветом,
Олег Давыдов



СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Денис Новиков.</i> Россия	3
<i>Зиновий Зиник.</i> Заря коммунизма	5
<i>В. Земсков.</i> Мирозерцание в кризисную эпоху	13
<i>А.Н. Кленов.</i> Почему у нас не будет фашизма и гражданской войны	25
<i>А. Кустарев.</i> Трансформация русской литературы	39

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>Роги фон Римс, Александр Тибетов.</i> Преодолевая сверхчеловека	86
<i>М. Айзенберг.</i> Декрет о своем и чужом.	90
<i>Е. Смирнова.</i> Мифологема страдающего бога и страсти Венички Ерофеева	96

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>С. Лунгин.</i> Применительно к смерти	108
<i>Зиновий Зиник.</i> Лицо эпохи	122
<i>Л. Петрушевская.</i> Мужская зона	148

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

<i>А. Михайлов.</i> Из истории гласности	157
<i>Вероника Бобе.</i> Странная газета	168
Митьки-Газета	178

НАША ПОЧТА	189
-----------------------------	-----



Цена номера 80 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 300 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

